

Похоронили Бяку весьма скромно, но весьма пристойно. Хотя поначалу всё складывалось не очень... После неожиданной смерти отца Тонька нашла в серванте, в красивой коробке из-под дорогих конфет, когда-то подаренных Бяке на пятидесятилетие, всего-то сорок тысяч с копейками. Стали прикидывать с Игорьком расходы (после похорон матери он в этом понимал): гроб, не самый дорогой, — тысяча десять... Рытьё могилы... Если местные возьмутся — три тысячи, не меньше... Но где их взять, местных, спилились или померли все. Придётся нанимать в городском “Ритуале”, как с недавних пор и делали все романовские. Городские сдерут все пять тысяч, это точно... Венки — ещё тысячи три... Крест — клади ещё две... Батюшке за отпевание, слышали, дают пять... Обрядить покойного в последний путь — сунулись в шифоньер, ничего подходящего нет, — костюмчик новый, рубаху там новую, ботинки... Ещё тысяч семь... Подсчитали — на поминки собственно оставалось из обнаруженной суммы девять тысяч. На девять тысяч помянуть хорошо никак не выходило. Тонька в очередной раз зашла в рыданиях до противоположного, нервического постукивания зубами о краешек стакана успокаивающего с водой. Она переживала смерть отца, как ни странно, тяжело, с каким-то бабым, крайним надрывом. Временами впадала в протрацию, а очнувшись, бесконечно пронзительно выла. Смотреть со стороны на это было невыносимо. Игорёк, надо отдать ему должное, стоически терпел, когда она заходила, бегал по комнате, размахивал кулаком: “В октябре он мне обещал сто пятьдесят тысяч! Значит, деньги в доме есть! Куда он их запрятал?!” Пробовали искать, когда Тонька на время приходила в себя. Подняли все матрасы, перерыли все шкафы, просмотрели все банки и посуду на полках, перетряхнули все ящики в столах, слезили в подполье, обыскали сарай и подсобки, и даже свинарник с коровником — денег нигде не было. “Придётся занимать, — сказал Игорёк, морщась на готовую снова заголосить Тоньку, — сходи к его боевой подруге, этой, как её... Надьке Карасёвой... Осенью продадим свиней, расплатимся... Попроси тысяч сорок”. Надька не дала и ста рублей. Правда, к вечеру прислала на Свинячий хутор подросток сына с сумкой, где позвякивали три бутылки палёной водки и с десяток банок дешёвой тушёнки. И на том спасибо. Заезжал, прослышав, видимо,

о бедственном положении с похоронами Бяки, Витёк Орешников. Долго что-то, словно вынюхивал, оглядывал на кухне, во дворе, недочерчиво, со своей противной, блатной ухмылкой всматривался в зарёванное решето Тонькиного лица, двусмысленно цедил сквозь зубы: “А мы-то думали! Фермер, новый русский...” На прощание вдруг оставил на столе ловко вынутые из нагрудного кармана пижонистого, приталенного пиджака десять тысяч. Тонька, испуганно переглянувшись с согласно кивнувшим головой Игорьком, прошептала сквозь рыдания: “Спасибо тебе, Вить! Никто копейки не дал... А папка-то, он всем помогал!” Окончательно выручил неожиданно прикативший на своей примелькавшейся “Ниве” Вадик Труханов. Тонька его помнила по былым визитам к отцу, обрадовалась. Вадик привёз матпомощь от администрации района — двадцать тысяч. Поялся, как бы невзначай бросил, что, по мнению пожарных, хозблок сгорел от проводки, короткое замыкание... “А кто же тогда Байкала?..” — прикладывая ладонь ко рту, с трудом сдерживаясь, спросила Тонька. Игорёк в этот момент мрачно уставился в пол. “Участковый выяснил, — мягко, скороговоркой пояснил Вадик, — пёс бегал вдоль забора, напоролся на длинный гвоздь...” Игорёк поднял глаза на Вадика и нагло разудлыбался в лицо. Вадик осудил строгим выражением глаз поведение паренька и посуровевшим голосом пообещал от имени самого Булкина по итогам года ещё подбросить “в размере восьмидесяти — ста тысяч...”. Игорёк прибрал улыбку. Вадик, улучив момент, победительно уехал. Теперь, при наличии свободных почти сорока тысяч, решила Тонька с Игорьком, можно было помянуть отца уже по-человечески.

...К часу дня тело покойного в простеньком гробу, обитом богато смотрящейся тёмно-вишнёвой атласной тканью, было доставлено из морга на Свиный хутор — попрощаться с домом. В комнату гроб заносить не стали, сняли крышку, поставили на табуретки у крыльца. Пришедшие на похороны романовские мужики и бабы, числом где-то около полусотни, молча окружили гроб, осторожно и скромно взглядывая на усопшего. Бяка в новом костюме с галстуком, причёсанный и прибранный, лежал в гробу нарядный и помолодевший, с каким-то неизъяснимым выражением светлого облегчения на лице от чего-то тяжёлого, вечно заботящего, придавливающего. “Свободен! До чего же я устал!” — казалось, вот-вот разомкнёт бледные уста и улыбнётся Бяка. Каждый, глядя на умиротворённое и даже в чём-то довольное лицо покойного, думал, казалось, не о нём, а о себе, грешном, о своём каком-то, ведомом только ему освобождении... Затихла даже Тонька, не рвалась, как в зале ритуальных услуг в море, рыдать на грудь к отцу. Беззвучно стояла в чёрном платке молодой, но вмиг состарившейся бабой.

Пришёл батюшка, средних лет, статный, высокий человек, с негустой бородкой, с косичкой пушистых, выющихся волос, запрятанной под воротник чёрного подрясника. Он раздал собравшимся тонкие, недорогие свечки, воскурил ладан, в струйках сладкого, нектарного дыма зазвенел цепочкой каддила вокруг гроба усопшего. Свечки в руках людей, несмотря на лёгкий ветерок, горели ровно и невидимо. Через полчаска гроб погрузили в автобус “Ритуала”, где уже ждали возле вырытой могилы копальщики (для них весьма кстати на “помин души” пригодились палёная водка Надьки Карасёвой). Обветренные, раскрасневшиеся от ядрёной выпивки, они должны были теперь опустить гроб в могилу и засыпать его землёй. К ним в “пазик” тесно набились романовские, тронулись на кладбище. Бяка отъезжал в последний путь от дома среди плотно обступивших его земляков, по-своему, видимо, любивших и уважавших его, по дороге среди вечнозелёного, сизого бархата посаженных им голубых елей... Выходило, Бяка уезжал навеки по своей аллее вечности и славы.

Где-то около трёх сели за столы в саду, посаженном Бякой, помянуть раба Божьего Михаила. Августовский, солнечный, с лёгким суховеем с утра день после полудня замер в прозрачной, золотой неге, окончательно расслабился, немо притих. И если пытался заговаривать внезапным, тихим шевелением листьев на яблонях, то выходило это шёпотом, как бы в нежной полудрёме. В солнечной пыли сыпались на скатерть и еду коричневые чешуйки коры, мелкие веточки, первые ломко-гремучие, скрученные в трубочку сухие

листья. Люди небрежливо подцепляли их с тарелок вилками, стряхивали в сторону. С невнятным, глухим стуком, как первые комья на крышку гроба, падали на землю яблоки. Говорили за столами как бы в такт с природой — мало, вполголоса... Часам к шести все мирно разошлись.

Помочь Тоньке убраться со столов осталась Надька Карасёва. Первым делом она внимательно пересчитала, сколько было выпито водки мужиками. Судя по пустым бутылкам, выброшенным в траву или аккуратно приставленным к стволам яблонь, выдули чуть больше ящика — двадцать три поллитры. “Примерно по бутылке на двоих, в норме...” — отметила Надька и тут же переложила выпитое на рубли. Женщины скромно осилили всего десять бутылок красного крепёного по ноль семь. Надька оглядела ещё раз столы перед тем, как начать убирать грязные тарелки. Вспомнила, что на столах были поминальные блинчики, колбаса двух сортов, красная рыба, сыр, овощная нарезка, винегрет, на горячее — гуляш с пюре... “Тысяч на двадцать пять всего без выпивки, не меньше”, — оценила намётанным взглядом Надька.

— Тонь, — тем не менее, спросила она, — много на всё ушло?

— Не знаю, — неохотно ответила Тонька, собирая в высокую горку тарелки, — Игорь всем занимался.

— Игорёк, — иронично хмыкнула Надька, — а сама-то что? Пора внимать, полноценной хозяйкой, можно сказать, стала... А вот сейчас мы у него и спросим, — обернулась к подошедшему с ведром Игорьку. — Игорёк, — бросила небрежно, — дорого обошлись похороны?

— Дорого! — с вызовом сказал Игорёк и неодобрительно стукнул ведром о землю. — Тонь, что не доели, сбрасывай сюда.

— Тысяч в шестьдесят? — не унималась Надька.

— Больше! — грубо отрезал Игорёк, направляясь с первой порцией объедков к сараю, где в голодном визге заходились не кормленные с утра свиньи.

— Ух, ты, какой важный стал, прям хозяин... — просверлила его взглядом в спину Надька, — козёл однорукий!

— Тетя Надь... — навернулись слёзы у Тоньки.

— Что “тетя Надь”? Что “тетя Надь”? — развернулась грудью Надька. — Может, ты за этого сморчка ещё замуж собираешься? Мне покойный Миша жаловался... Но ты дурой-то полной не будь! Теперь на тебя такие женишки слетятся, только выбирай! Вон у меня Павлушка подросток, скоро восемнадцать будет! Тебе сколько?

— Двадцать один... — хлопнула носиком Тонька.

— Ну и что, что чуть помладше! Любить дольше будет! — бодливой козой упруго подскочила Надька к Тоньке. — У меня кое-что на чёрный день отложено... У тебя вон какая ферма! Объединимся, знаешь, как заживём! Одна-то не потянешь, а я в хозяйственных делах... Финансы там, кредиты, бухгалтерия, сама понимаешь, разбираюсь! Я Мишке, царствие ему небесное, — Надька перекрестилась, — давно уже сообща всё делать предлагала... — Надька сделала полшага назад, взвесила жертву распалившимся взглядом, накинулась хищницей: — Ты бумаги отца смотрела? На кого записан дом? Техника, скотина, земля? Сколько денег лежит на счету?

— Ничего я не смотрела! Что ты, как пиявка... — лицо Тоньки плаксиво перекошилось и стало ужасно глупым. — Да и что я понимаю в бумагах этих! Как-нибудь разберёмся с Игорем! Отстаньте от меня...

— Вот что, тетеря, — приблизившись, обняла Тоньку Надька, — завтра после обеда я у тебя, магазин пораньше закрою, и мы всё посмотрим. Но только без твоего придурка! Его, вообще, отсюда гнать надо... Поняла?! Потом, когда переформируем всё, я у тебя что-то типа гендиректора буду. Согласна? — Тонька кивнула. — Вот и правильно. — Надька, довольная, чмокнула Тоньку в щёку. — Мы ж с тобой почти как родственники, кто ж тебе ещё поможет, сироте несмышлёной, от чистого сердца... Кругом одни жулики и проходимцы, разденут до нитки средь бела дня, нищей по миру пусчат.

Помочь Тоньке Надька, увы, не смогла, но в чём-то слова её оказались пророческими. Часам к одиннадцати следующего дня по аллее голубых елей, грузно и властно шурша шинами по щебню, к воротам Свинычье хутора подкатила, сверкая никелем и тонированными стеклами, очень дорогая машина. Высокая и просторная, устойчиво-непоколебимая на своих широченных колесах, обвешанная антеннами и фарами, она, плавно колыхнувшись всем корпусом при торможении, тяжёлым танком вросла в землю у ворот фермы. Из неё гладким семечком перезрелого плода выскользнул маленький, ловкий, весь какой-то неуловимый в своей энергичной подвижности человек с коричневой кожаной папкой в руках. Скоро он уже требовательно стучал крепеньким кулачком в дверь Бякиного дома.

— Антонина Михаловна Макарова? — ровным, приятным голосом заговорил гость, бегло оглядывая заспанную, потревоженную Тоньку в халате и неприбранное, донельзя захламлённое нутро кухни, прилаживаясь, предварительно обмахнув папкой, на табуретку у окна и закидывая ногу на ногу для удобства размещения папки на коленях.

— Да, я самая, — сказала Тонька, краснея от неумения вести себя перед незнакомым мужчиной и перебирая замусоленные концы пояса от халата.

— Меня зовут Кирилл Андреевич Привалов, — представился гость, раздельно выговаривая слова, — я руководитель юридической службы банка... — было произнесено трудно запоминающееся название кредитного учреждения.

Тонька как-то виновато, ещё гуще заалев, что-то едва слышно прошептала.

— Да вы присядьте, разговор у нас непростой выпадает, — сказал гость, забарабанив было пальцами по липкой, давно не мытой клеёнке стола, но, отдёргнув руку, потёр пальцами в воздухе, как перед счётом крупной партии денег.

Тонька присела на табуретку напротив, стыдясь своих оголившихся из-под халата полных, некрасивых ног. Вошёл Игорёк в каждодневной рабочей одежде, не выспавшийся (с раннего утра занимался хозяйством, а накануне после похорон легли поздно), грязный, замызганный. Поздоровался, встал, подперев плечом дверной косяк.

— Извините, а вы?.. — спросил гость.

— Это... — опередила Игорька Тонька, — ...мы скоро распишемся.

— Понятно, понятно... не возражаю, — неопределённо сказал гость и мягко обвёл молнию по краям папки. — Словом, так, Антонина Михайловна, — он извлёк из папки несколько листов бумаги. — Ваш покойный отец, Михаил Васильевич Макаров, — примите мои соболезнования, — год назад получил в нашем банке кредитные средства в сумме пятнадцати миллионов рублей. Вот копия договора, — гость передал в руки Тоньки первую порцию бумаг. — Срок погашения истек, по прискорбному стечению обстоятельств, три дня назад. В залог Михаил Васильевич Макаров оставлял банку дом и всё движимое и недвижимое имущество его крестьянско-фермерского хозяйства. Вот свидетельство сего решения. — Испуганной, начинающей уже что-то понимать Тоньке была передана следующая подборка листов. — Кредит вовремя, как вы понимаете, погашен не был. Как там у классика? "... человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!" Извините, это я так, к слову. Ваш покойный батюшка наверняка перекредитовался бы, он в этом отношении был весьма умелым человеком. Но, увы! Сейчас за него вряд ли кто осуществит подобное действие. К величайшему прискорбию, повторяю. Поэтому правление банка приняло решение погасить кредит за счёт изъятия залогового имущества кредитующемуся по последующим выставлением означенного имущества на торги. Ознакомьтесь. — В руки Тоньки переключившись ещё одна бумажка. Тонька механически приняла и её и стала, ничего не понимая, вчитываться в текст. На бумагу звучно упала первая слеза.

— Это что же, теперь у нас отберут всё? И дом? — подняла она на гостя слёзным хрусталем заблестевшие глаза.

Гость развёл руками:

— Моя миссия только довести до вас это. Сожалею.

— Вы не имеете права! — заговорил вдруг порывисто у дверей Игорёк. — Вы не имеете права лишать по закону человека единственного жилья!

— Bravo! — улыбнулся гость. — Приятно иметь дело с юридически подкованным молодым человеком. Только вот какова особенность этого дельца. Покойный батюшка Антонины Михайловны оформил дом и всё, что вокруг, исключительно на себя. Долевого участия Антонины Михайловны во всём этом, — гость обвёл руками вокруг себя, — увы, нет ни процента. Ей принадлежит исключительно только домик её тоже уже в Бозе почивших дедушки и бабушки, расположенный, в соответствии с записью в шнуровой книге Романовского сельского поселения, на участке номер двадцать три. Вот имуществом распоряжение, так сказать, завещание, её покойного батюшки, заверенное нотариусом. — На колени Тоньки лёг ещё один листик бумаги. Судя по решительному движению молнией, произведённому гостем вокруг папки, он был последним. Гость встал.

— У вас, Антонина Михайловна, естественно, остаётся право оспорить наши действия в суде... Но вам мой совет: лучше собирайте потихоньку вещички. — Гость на секунду задержался: — Как говорят, с сильным не борись, с богатым не судись... Не пойте мне превратно, как угрозу, что ли... Это я чисто по-человечески... Всё уже решено.

— Зачем он это сделал? — всхлипнув, остановила его Тонька неожиданным вопросом.

— Кто его знает, — пожал плечами гость. — Может, для того, чтобы не втягивать вас во все эти непростые разборки... Отцовские чувства, так сказать, желание оградить... Видимо, предугадывал... Финансовые дела в последнее время у него были в крайне запущенном состоянии. Сейчас бы все эти кредиты повисли лично на вас... И что было бы? А так лишаетесь только имущества...

На улице его догнал Игорёк. Он был в сильнейшем нервном возбуждении.

— Стойте! — крепко схватил он единственной рукой гостя за плечо. — Вчера она похоронила отца, сегодня вы выгоняете её без рубля практически на улицу. Нельзя же так! Совесть есть у вас?!.. Может, что-нибудь придумать?

— Успокойтесь, — мягко отвёл руку Игорька гость, — на кону приличные деньги. Вмешались большие люди. Какая совесть! Я вижу, вы всё понимаете, слышал, родились в Москве, учились немного... Характер угадывается... Что вам объяснять! Но в суд подавайте, — неожиданно сказал гость, — в ваших условиях вам с подругой время потянуть только на пользу... Может, удастся что-то и отсудить... Мебелишку, телевизор, холодильник там... Сирота всё-таки. Не стесняйтесь, давите на жалость, хоть они все и продажные, но у некоторых дамочек там, в суде, как-то по-бабьи сердце осталось.

Игорёк в замешательстве слушал.

— И вот что ещё, — бросил гость вполголоса, — сколько осталось тут баранов? — кивнул он в сторону сараев.

— Баранов нет, — растерялся Игорёк, — коровы, свиньи только...

— Ну, хорошо, хорошо... коровы, свиньи, — улыбнулся гость, — много?

— Пять коров, десять тёлочек, семь свиноматок, хряк... Тридцать поросят, — уверенно перечислил Игорёк.

— Однако, — усмехнулся гость, — мы в теме... — и как-то незаметно перешел на "ты". — Я тебе вот что посоветую... Тёлок по осени, пока суд да дело, ты уполовинь по-тихому, и свиней тоже, никто и не заметит, — окинул он быстрым взглядом Игорька, — всё какие-то деньги на первое время... Технику не трогай, тут документы купли-продажи, регистрация... Лучше не нарываться... Вот и всё, что в вашей ситуации можно "придумать". Впрочем, я тебе этого не говорил.

Игорёк понимающе, благодарно кивнул. На том и разошлись.

После обеда, как и обещала, приходила Надька Карасёва. Тонька даже не вышла к ней, лежала на кровати, горестно, без слёз, отвернувшись к стене, выводила пальцем на выцветших, драных обоях, как в детстве, только ей

ведомые причудливые вензеля. Иногда крупно вздрагивала всем телом, что-то тихо говорила... Игорец скупко объяснял госте, что произошло. “Я предупредила эту дуру, предупредила, разденут до нитки!” — торжествующе сказала Надька и, словно чему-то радуясь, побежала делиться новостью по деревне.

II

Не прошло и недели после известных событий на Свинаячем хуторе, как к Витьку Орешникову пришли. Пришли те, кого он боялся больше всего на свете. Их было двое — не привычные, оглулённые чрезмерностью физического превосходства шкафы-быки, а какие-то внешне незаметные, бывалые, немногословно-сдержанные, в приличных, неброских, выше среднего достоинства костюмах, с непредсказуемо-решительными лицами — они внятно и без лишних слов растолковали Витьку, что Паук с Синяком были схвачены в Иванграде; короткопытанные, всё в деталях рассказали, раскаялись и были отпущены великодушно, по-пацански (всё-таки только что откинулись) на все четыре стороны. К Витьку (ввиду бывших “подвигов”) больших претензий братва тоже не имела, но за попытку шакалить на подконтрольной территории приговаривала его к трёхкратному взносу в общак и отказу в покровительстве и защите перед властями, влиятельным представителям которой он своей партизанщиной серьёзно где-то (без уточнений) перешёл дорогу. Так можно было перевести на общедоступный язык то, что было с особенностями особой лексики сурово втолковано Витьку. У Витька отлегло от сердца, он посчитал, что дешёво отделался, и с утроенной энергией принялся бодрить пиво, втюхивать посетителям бара палёную водку, просроченные чипсы, шоколад, залежалую колбаску, навёрстывая потери, связанные с общакон. С представителями власти он рассчитывал, как обычно, разобраться игрой и без особых проблем. Всем проверяющим — ментам, пожарным, санэпидстанциям и администрациям — всегда лежали под рукой заранее расфасованные по конвертам, сладкие грёзы вызывающие своим нежным шелестом “хрусты”.

Но что-то вдруг с определённого момента пошло не так, вопреки привычному ходу дел. Первый же инспектор противопожарной службы, плюгавенький прапорщик внутренней службы, полный “фуфел и обсос” (так определил его с первого взгляда Витёк), на лбу которого просвечивала самой вождельной и страстной мечтой поддерживаемая иномарка, вдруг с несвойственной ему надменностью отказался принять конверт. Это было что-то новенькое! Это было уже черт знает что! У Витька даже пот на лбу выступил, и он промокнул его отвергнутым пакетом с деньгами. А инспектор, веснушчатый, с усиками, рыженький таракан, в нелепо заломленной, как у парагвайских диктаторов, форменной тёмно-синей фуражке, с такой дьявольской тщательностью проверил все розетки, все входы и выходы проводки в здании, все подводки к аппаратуре в баре, все электрочайники и огнетушители, что исписал потом приличную стопку протокольных страниц... И выставил такой штраф, что у Витька потемнело в глазах.

Не менее удивительно повёл себя и следующий визитёр — тучный, в затрёпанном пиджаке господин из налоговой. Пытливо шевеля на мясистом, прилепившемся между щёк разваренной сарделькой носу узкими, дешёвопластмассовыми очёчками, он долго и вдумчиво изучал лицензию на продажу крепкого алкоголя и потребовал декларацию объёма продаж. Оказывается, Витёк как индивидуальный предприниматель обязан был ежеквартально отчитываться, сколько он продал водки, коньяка и вин. Декларации, увы, не нашлось. “Нарушаете закон реализации крепких напитков ипэшниками по одной из его существеннейших статей. Я вынужден уведомить об этом прокуратуру”, — буркнул, хитро поглядывая поверх очёчков, большой господин в расшлёпанных, когда-то фасонистых туфлях, сквозь кожу которых пованивало тлением грибковых ступней и несвежих носков. Слово “прокуратура” очень не понравилась Витьку, и он достал из ящика стола, под стать гостю, самый толстый конверт, придвинул солидному человеку. “Не велено!” — странно сказал толстяк и пухлым пальцем отщёпнул пакет обратно Витьку.

Это “Не велено!” несколько дней мучило Витька. Чтобы так изъясняться, отвергая деньги, патентованные выжиги и мздоимцы? С подобными он встречался впервые. “Что значит “Не велено!” Кем не велено? Всегда брали, а теперь — “Не велено”?!” Витёк напрягся, ему показалось, что вокруг его поляны расставляют красные флажки.

Визит участкового подтвердил недобрые предчувствия. Лёня-тюрьма — ладный, стройный молодец лет сорока пяти, любивший до страсти особый запах и солидную властную строгость кожаного ремня с кобурой, — присматривал за жизнью в Романове, тем не менее, с прохладцей, начинал вникать в неё исключительно после драк с поножовщиной или какой-нибудь крупной кражи, всё остальное же он по-житейски считал несущественным и старался служебным рвением особо не злоупотреблять, без нужды людей не тревожить. За Витьком приглядывал постольку-поскольку, считая в чём-то конченным, неисправимым человеком, для которого тюрьма по жизни уже дом родной, поэтому без причины — всё одно — особо не задирали. Довольствовался от Витька регулярными десятью тысячами в месяц и хорошим угощением. Но на этот раз он тоже недвусмысленно отвёл Витькину руку с тощим пакетиком и стал неожиданно гневно трясти перед его носом письменными заявлениями романовцев, что в баре у Орешникова продают пиво и водку несовершеннолетним. “А это уже, сам понимаешь...” — показал Лёня-тюрьма на просвет сложенные в клетку пальцы. Витьку стало совсем не по себе. Флажки уже явственно зазелели вокруг него.

Всё неожиданно расставил по местам подозрительно откровенный и словоохотливый проверяющий из санэпидстанции. Улыбчивый молодой человек двадцати с небольшим лет, выпускник медицинского колледжа, в узких оранжевых брючках и чёрных с белыми подошвами кедах, с повязанным европейско-либеральной петлёй лёгким шарфиком на шее, в розовом, тонкой шерсти, искусственно кургузом пиджаке в обтяжку — эдакий иванградский хипстер-повеса, с манерами представителя “непуганого поколения”, не знающего и в корне отвергающего любые авторитеты, на деле, как отметил Витёк, оказавшийся самым пронырливым и цепким из всех многочисленных представителей санитарно-эпидемиологического ведомства, уже побывавших у Витька в заведении. Молодой человек не стал брать пробы из кегов и бутылок, хранившихся в подсобке и на полках бара, как это традиционно делали его предшественники, а ловко, с шутками и прибаутками, обойдя всех посетителей питейного заведения (дело было вечером в субботу), отлил в специальные склянки, представляясь сомелье, якобы для “выявления народного напитка”, самую малость содержимого кружек, бокалов и стаканов на столах. Потом он всё аккуратно упаковал в кожаный кофр, опечатал и отослал с шофёром в город на анализы. “Ну, а теперь можно и отдохнуть! — сказал он весело, непринуждённо усаживаясь в кресло в кабинете Витька. — Коньячку не плеснёшь? Или что там есть у тебя?” Витёк, обрадовавшись, сунулся было с деньгами, но и в этот раз конверт был демонстративно отвергнут. Но зато с удовольствием был принят стаканчик виски. “Неплохо, — со знанием дела сказал, отхлёбывая, хипстер-эсовец. — “Белая лошадка”? Демократичный напиток... Недорогой, но вполне себе... Надеюсь, не разбавленный? Как всё там у тебя...” — кивнул в сторону бара. “Обижает”, — тоже перешёл на “ты” с привычной нагловатой ухмылкой Витёк. “Представляешь, пока не встречал ни одного заведения, где бы не боджили... Все, поголовно все жульничают! — с удовольствием, живо делился профессиональными наблюдениями гость. — Хоть через одного сажай... И сажаем! А что делать? Народ травят! Ты знаешь, сколько смертей от палёной водки? В год два “Афгана”! И куда только либеральная общественность смотрит! А какой вред здоровью нации от подкрашенного обод коньяка мегилового спирта?! Или для градусу — в винишке?! Тысячами слепнут, десятками тысяч преждевременно погибаются!” Витёк нахмурился, разговор ему явно не нравился. “Сажают производителей, мы-то что...” — угрюмо выдавил он и подумал: “Попался бы ты мне, пидор, в другом месте”. “Да ладно тебе, по закону сейчас посадить можно и продавцов! — с весёлым любопытством заглядывая Витьку в глаза, трещал хипстер-проверяющий. —

Вот как с тобой, уверен, зуб даю, анализы покажут! Всё у тебя подделка и разбодяжка! До нас уже давно сигналы доходят! И вот только сейчас дана команда!” Витёк встрепенулся: “Команда? — Да, точно так... команда. Денег у тебя не брать, ты неприкасаемый...” Витёк поёжился, вспомнив, кого на зоне делали “неприкасаемыми”. Взял паузу, впервые в жизни не зная что сказать. “А что, у вас тоже есть... неприкасаемые?” — хмыкнул всё-таки, поёживаясь. “Да не в том смысле, — с удовольствием рассмеялся гость, — у нас условно неприкасаемые — это те, кого приговорили под статью... Когда не берут у него больше ничего, обрубают связи, чтоб меньше возникал потоп”. — “А кто это... приговаривает?” — с трудом шевельнул языком Витёк. “Как и у вас... там! — показал пальцем наверх молодой болтунишка. — Так всё в жизни сейчас перемешалось — блатные, менты, чиновники, мошенники... убеждения, принципы, понятия, законы... Ну, сплошной какой-то дикий миксер! Гигантский такой, размером со страну!” — широко развёл руки, как показывают богатую добычу рыбаки, говорливый проверяющий.

“Приговорили! — понял окончательно Витёк после визита этого шустрика из санэпидстанции. — Обложили!” Красные флажки пылающими на бегу языками гончих псов сомкнули кольцо. “Подводят под статью, не сегодня-завтра приедут брать! Где-то я, действительно, с этим фермером лопухнулся, — запоздало раскаивался Витёк. — Но кто же знал? С виду мужик и мужик... А он, похоже, там, наверху, кого-то сытно кормил!” Витёк в растерянности терзался: “Эх, промахнулся, недоучёл, недодумал... И как это могло получиться?!” Но и что делать, тоже не знал. Раствориться? Залечь на дно? Но это было бы несерьёзно. Везде найдут, не менты, так братва. Сходить к авторитетам, покаяться, попросить помощи? В шестёрку согнут. Оставалось только одно — с гордо поднятой головой снова на зону. Авторитет зарабатывать. Но если вместо “авторитета” там заработаешь только “тубик”, как Синяк! Нет, просто так, чуть ли не добровольно, спешить туда не надо. Из срока в срок — это было бы слишком. Он, в конце концов, не революционер...

В таких растрёпанных чувствах застал Витька Генка Демьянов, как-то после Покрова неожиданно заглянувший в бар пропустить кружку-другую пивка. До этого он обходил экзотичное для деревни заведение стороной. Дорого там, казалось, было всё. Да и непривычно как-то, не по возрасту по барам шляться... Не с Людкой же и её подругами сидеть там за пивом. Хотя.. Мужики как-то заглядывали, в целом одобрили. Но тут Генка сразу после праздника удачно сплавил заезжим перекупщикам тёлку-полуторницу за сорок пять тысяч, был при деньгах, позволял себе принимать чуть ли не каждый день. Но самогонка “обрыдла”, сказал он однажды жене Нинке, а потому он “как цивилизованный человек” думает сходить в бар. Мол, “потянуло” его “хлебнуть пивка бочкового... Настоящего, крепкого, ядрёного”. И то правда, бутылочное Генка не любил — “шампусик, газированная моча, подделка, дрянь какая-то!” Но вело его в бар другое. О чём он никогда бы не стал рассказывать даже жене.

Был угрюмый, тёмный, с влажной туманной мглой, холодный день конца октября. Обильный снег, выпавший на Покров, растаял, снова замесил жирную, густую грязь на улицах. Генка на время отложил тёплые войлочные ботинки, переобулся в высокие резиновые сапоги. В них и пришлёпал с толсто налипшей глиной на подошвах в бар. Четверг, это, кажется был, вполне будничным, рабочий день. Но, на удивление, у Витька собралось к вечеру довольно прилично посетителей. Большинство из них Генке были не знакомы. Приезжие, перекати-поле, в основном, скупившие когда-то дешёвые совхозные квартиры в двухэтажных каменных домах. Народ бедный, запуганный, безработный. С местными они сходились трудно, те считали их почему-то “чурками”, отторгали как чужаков. Вот они, похоже, и собирались, как “товарищи по несчастью”, за кружкой пива душу отвести. Свои, романовские, в основном, пацанва шестнадцати-восемнадцати лет держались отдельной стайкой, гомонили, с вызовом, задиристо поглядывали на молодых

“чурбанов”. “Чем они заняты? Не работают, не учатся... На что пьют?” — подумал Генка и присел за единственный не занятый, самый неудобный, стоящий на отшибе столик у дверей. Осмотревшись и поняв, что перетиграть за жизнь, слава Богу, ни с кем не придётся, сходил к барной стойке и взял для пробы кружку светлого “Сибирского” с солёными сухариками. Пиво оказалось свежим, действительно ядрёным, на удивление не разбавленным. Генка не мог знать, почему Витёк Орешников старался последнее время работать честно. После третьей кружки, почувствовав прилив лёгкой пьяной агрессии и закурился, — в зале, несмотря на знак на стене с перечёркнутой красным сигаретой, все, как перед расстрелом, много и жадно курили, — неприязненно отметил, что в баре натоптано и грязно (“могли бы и помыть полы”), накурено, хоть топор вешай (“вытяжки никакой...”), и куда только “урка наглая смотрит... Всё экономит, гад! Кстати, где он, гнида оборзевшая?.. Уже час тут торчу обалдую!” И только Генка успел об этом подумать, как из коридора, направо от барной стойки, выдвинулся на свет в сизых клубах дыма, как демон из преисподней, с бледным, злым лицом, в чёрном, наглухо застёгнутом кожаном пальто до пят Витёк Орешников.

С тусклым безразличием он оглядел зал, перекинулся несколькими словами с барменом, некоторое время непонимающе, как на пустое место, взирал на Генку. Но вдруг что-то до него дошло, и он узнал, кто перед ним. Досада и смущение были первыми его чувствами, и он сделал попытку отвернуться и уйти, но что-то остановило его и направило к Генке.

— Извини, дядь Ген, не узнал... Богатым будешь, — выправился Витёк, сгоняя постыдную растерянность с лица на подходе к столику Генки, излишне приветливо протягивая руку.

— Что, так сильно изменился? — с воодушевлением поздоровался, даже вежливо привстав, Генка.

— Да нет особо... Вроде не стареешь, — окинул его настороженным, быстрым взглядом Витёк, — хотя, конечно, когда катал меня на тракторе... — усмехнулся, — другой стал.

— Да мне тогда было, как тебе сейчас, наверное, — сделал попытку улыбнуться Генка, — а вот уже скоро дедом стану! — хихикнул он и неожиданно распахнуто, с вбирающей пристальностью посмотрел на Витёка. — Ты чего замер? Присаживайся, посидим-поговорим... Может, по кружочке? Пивко у тебя забористое, как раньше жигулёвское из бочек. Помнишь? Ну, ты вряд ли помнишь, мелковат ещё был... Привезут такое, в пузатых таких дубовых бочках... Две-три кружки — и полный ажур. Потому что настоящее было, из натуральных продуктов... А сейчас сплошной фальшак. Но у тебя, скажу, тоже ничего...

Витёк подсел к столу, расстегнул пальто, достал сигареты, с ёмким, увесистым звуком поставил на столешницу никелем блеснувшую, красивую металлическую зажигалку. Обернулся к барной стойке, показал бармену два пальца:

— Пару пива... И пепельницу, — добавил, заметив, что Генка бросал окурки в вышитую кружку.

Чокнулись принесённым пивом, отхлебнули по глотку, в молчании закурили. Витёк часто и глубоко затягивался, не вынимая сигарету из уголка рта, щурил от дыма глаза, исподлобья взглядывал на Генку, быстро и нервно, заставляя ударами пальца крутиться, вертел зажигалку в руках.

— А вот ты изменился... Задроченный какой-то, — сказал, усмехнувшись, Генка. — Есть проблемы?

— Да когда их не бывает, — в уклончиво-скользкой гримасе съёжился лицом Витёк, заминая окурки в пепельнице и берясь за пиво. Зажигалка оказалась развернутой стороной к Генке. “Ronson”, — прочитал Генка, а выше, на откидывающейся крышке — гравировку: “Витёк Орешникову от пацанов. Удачи, братан! 25 лет”.

— Подарили ещё на зоне, когда четвертак отмечали, — заметил Витёк интерес Генки к зажигалке, — настоящая американская, бензиновая, на ветру не гаснет, такие у морпехов во Вьетнаме были... Так, говоришь, скоро дедом станешь? — вдруг спросил он.

“Понял все, перхоть!” — подумал Генка и с вызовом посмотрел на Витьку: — Где-то по весне так... А сейчас отца ищем!

Витёк отвёл глаза в сторону, насмешливо выпуская через ноздри дым, хмыкнул:

— Здесь ты его не найдёшь.

— Не сомневался! — качнулся на стуле Генка.

— Тогда зачем пришёл? — в упор, нагло вато придвинувшись, спросил Витёк. Генка тоже дёрнулся со стулом к Витьку:

— В глаза тебе посмотреть!

— И что ты в них увидел? — сощурился Витёк.

— Когда тебя снова посадят, — тихо сказал Генка, — твои сокамерники быстро узнают, что ты бабу изнасиловал. Это я тебе обещаю! У меня ни точки остались... Я же краснопёрник, старший сержант ВВ... Что, не знал?! Так что — ку-ка-ре-ку!

— Тут ещё надо доказать! — отшатнувшись, неожиданно испуганно сказал Витёк. — Она всё врёт! Это она за то, что я закрутил с другой!

— Моя дочь не врёт, сывка! И ты за всё ответишь! Ку-ка-ре-ку! — снова пропел Генка и зачем-то добавил: — А я тебя, вшивого, ещё на тракторе учил, обедом кормил... Дешёвка ты!

— Я могу и обидеться, — попытался сделать грозные глаза Витёк. — Шёл бы ты отсюда, дедушка, пока я тебе пендаля не дал! — Он резко встал, не глядя, нашарил сигареты на столе и, полный презрительной спеси, излишне медленно, важно шагнул мимо барной стойки в темноту коридора.

А Генка, довольный, допил пиво. С этим “Ку-ка-ре-ку”, чувствовал, он достал Витьку глубоко и занозисто. Но этого было мало. Что-то бродило и выревало в нём страшнее слов. Он закурил на дорожку и, потянувшись к пепельнице бросить спичку, обнаружил, что Витёк оставил на столе свою фирменную зажигалку. Вдруг всё “срослось” в голове мгновенно. Генка огляделся и, прикрыв зажигалку салфеткой, быстро сунул её вместе с салфеткой в карман...

На следующий день Генка с нетерпением дожидался, когда уйдёт из дома Нинка. Она каждый день носила в Хорьковку остающимся там зимовать дачникам молоко. Всё какая-никакая копеечка в семейный бюджет... Как только гружённая банками Нинка понурым осликом шагнула за порог, Генка, прикрыв входную дверь на крючок, кинулся к шифоньеру. Достал со дна шкафа заваленное разнокалиберным барахлом, завернутое в чистую фланелевую тряпицу ружьё. Это была ещё советская двустольная “ижевка”, горизонталка, подаренная Генке покойным отцом на совершеннолетие. Лёгкое, с удобным, изящным прикладом, скопированное с немецкого “Зауэр — три кольца”, а посему отличающееся необычной кучностью и точностью боя, ружьё было особым предметом любви и заботы Генки. Всегда смазанное, вычищенное до мглисто-туманного блеска стволов изнутри, ружьё лежало на дне шифоньера всегда готовое к действию. Генка исходил с ним не одну сотню верст по окрестным лесам и не раз приносил домой богатые охотничьи трофеи. Сколько было настреляно уток, диких гусей, глухарей, вальдшнепов... Ходил Генка с этим ружьишком и на крупного зверя — на лося с кабаном. И ни разу ружьё не подводило, било без осечек и точно. Когда несколько лет назад власть, обеспокоенная ростом смертоубийства, предприняла очередную попытку навести порядок с незарегистрированным оружием, и кто-то из местных навёл на Генку Ленио-тюрьму, Генка зарывал ружьё даже в землю, но не отдал, не расстался со старым другом, хотя Леня-тюрьма грозил немалыми штрафами и даже арестом.

Об этом Генка вспоминал, разбирая и раскладывая ружьё на столе: отдельно — спаренные стволы, приклад, цевьё. Он принёс из сарайчика, где хранил инструменты, развинчивающийся (лежащий отдельными половинками в разных местах) шомпол, маслёнку, смазал негусто, в меру, затвор, спусковые крючки, курки, предохранитель, усердно продраил в который раз шомполом стволы, собрал ружьё снова, протёр подмасленной тряпкой внешнюю поверхность стволов, полюбовался их волшебным, матовым блеском на просвет — “есть три кольца!”, — пощёлкал курками. Приладил к ствольной

и ложевой антабке ремень из заношенной, но ещё надёжной и прочной сыромятной кожи. Красота! Генка с подростковой радостью повертел ружьецо в руках, с наслаждением поцелился и за окно, и в стену, и в сторону кухни, со вздохом сожаления разобрал его снова, ласково понежил бархоткой лакированный, в памятных трещинах и царапинах (у каждой своя история) приклад... И приступил к главному.

Из углубления, замаскированного выдвижным кирпичом в нижней части русской печки, где всегда сухо, Генка извлёк мешочек с порохом, коробку с капсулями, несколько свинцовых слитков, газетный кулёк с пыжами, медные гильзы. Гильзы были старые, с прозеленью от времени, но надёжные, многократно используемые. “Таких сейчас не делают!” — горделиво отметил про себя Генка. Он отобрал десяток, на его взгляд, самых прочных, прочистил шилом отверстия в гнездах для капсулей, лёгким молоточком сбил капсули в гильзы. Нарубил крупно свинца. Между двумя сковородами накатал дробь-картечи. С такой он ходил обычно на кабана. Кабан — зверь лютый, непредсказуемый, ухо с ним надо держать остро, и самодельная картечь была его страшно, намертво валила дулетом. Подумывая: “Не разорвёт ли?” — Генка, тем не менее, щедро — “была не была! чтоб наверняка!” — уснащал каждую гильзу двойной меркой пороха, плотно затрамбовывал пыжами, под завязку засыпал картечью... Так трудился он до обеда, пока не вернулась продрогшей, мокрой курицей из Хорьковки Нинка.

Вторую половину следующего дня Генка проторчал у окна, отслеживая каждую машину, медленно проплывающую со стороны города по лужам и ямам разбитой вконец дороги. Была суббота, последняя суббота октября, дальше, может, зима, и в деревню съезжались дачники — сгребать и сжигать палую листву, разбирать теплицы, заделывать воздуходувы в подвалах, заколачивать окна, прилаживать замки, забирать на городские квартиры банки с солёными огурцами и помидорами... Генка искурил не одну сигарету, пока с замиранием и холодком на сердце не зафиксировал белый “Фольксваген” с чёрно-оранжевой ленточкой на антенне. Вечером в кромешной темноте прошёлся с фонариком мимо дома Смирновых, украдкой мазнул пучком света белый “седан” у ворот, удостоверился окончательно: “Прибыл... козел!”

12

В ту же, последнюю субботу октября Тонька Макарова съезжала с хутора. Суд был проигран, хотя, как и предвидел летом шустрик-юрист из банка, удалось отстоять телевизор, стиральную машинку, холодильник (судьи и впрямь оказались сердобольными, сжалились над сироткой) да кое-что по мелочи — постельное бельё, одеяла, посуду. С понедельника первого ноября всё хозяйство отходило банку. Решили с Игорьком перебраться в старый, родительский дом Бяки за субботу. К тому же новые хозяева привозили в пятницу знакомиться с фермой своих работников — пожилую пару, мужа и жену, скромных, как показалось, добрых людей, измотанных бесконечным кочеванием по стране после изгнания из какой-то среднеазиатской республики и осевших без кола и двора у родственников в Иванграде. Видно было, что их радовала перспектива постоянной работы и возможность пожить самостоятельно, независимо, пусть и не в своём, но вполне благоустроенном доме. С понедельника им надлежало приступить к работе, и они от полноты чувств и благодарности к благодетелям из банка изъявили желание приехать на первом автобусе и начать что-то делать уже в воскресенье. Тонька с Игорьком принялись увязывать узлы.

Никогда, даже в самом пустом и нелепом сне не могла представить Тонька, что ей придётся когда-то спешно собирать вещички и выметаться, как бесправной приживалке, из родного дома. Почему? Никак не могла она взять в толк. С какой это стати? Нет, она понимала — за долги, за кредиты какие-то... Всё тут по закону. Но чувство чего-то неправильного, несправедливо творимого с ней не покидало её. Дом строил её отец, не банк, который вдруг ни с того ни с сего стал хозяином этого дома. Она в нём родилась и выросла, по праву считалась наследницей. И вот вдруг на основании

каких-то бумажек она здесь вроде и ни при чём. Не владелица, не хозяйка, а так, приблуда какая-то. По закону всё правильно, снова и снова возвращалась она к главной мысли, отец задолжал, согласился с теми, кто давал в долг, что, если не вернёт вовремя деньги, отдаст за них дом. Всё правильно. Но ведь по справедливости-то это её дом. С ней-то считаться надо! Но она, получилось, как бы никто, её здесь как бы нет. И всё это в результате каких-то правил и законов, не имеющих к её жизни ровным счётом никакого отношения. Но её всё равно выгоняют из её дома. И вот это неправильно, несправедливо, не по-человечески!

Пробовала Тонька за лихорадочным, суетливым раскладыванием по картонным коробкам, щедро выделенным в магазине Надькой Карасёвой, посуды, одежды, банок, кастрюлек, сковородок поделиться своими сумбурно-отрывочными мыслями с Игорьком. На что Игорёк, работая одной рукой и коленом, неуклюже и напряжённо перевязывая бельевой верёвкой заполненные коробки, коротко и сердито выдохнул: “Так выкидывали и нас из квартиры. И ничего сделать было нельзя. Капитализм это... Проедет по человеку — не оглянется!”

Снимая со стены почётную грамоту матери, ту, что принесла летом из клуба, Тонька, готовая всплакнуть, потёрла ладонью сухие глаза (слёзы после похорон родителя почему-то пропали): “Была бы мамка жива, не случилось бы так!” И стала в который раз думать об отце: почему он не оформил её наследницей дома и хозяйства по завещанию. Тонька так разволновалась, расходилась в мыслях, что не выдержала и, прижимая к груди стопку отобранных к перевозке простыней, в каком-то изнеможении плюхнулась на диван, плаксиво запричитала:

— Зачем он это сделал?!

Игорёк отложил бечёвку в сторону, подсел на диван к Тоньке.

— Ну, чего теперь... — осторожно положил руку Тоньке на плечо. — Этот, что приезжал из банка, юрист, правильно тогда сказал... Не хотел тебя, видно, папаня во все эти дела втягивать.

— Я бы дом не отдала! — капризно заныла в стопку простыней Тонька.

— Трудный вопрос, — пожал плечами Игорёк и, улавливая, что к Тоньке лучше сейчас не притрагиваться, снял руку с её плеча. — Есть у меня ощущение, что тут какие-то тёмные денежные дела, и серьёзные... Уж очень всё круто завертелось. Так что лучше, как сказал этот, из банка, потерять только имущество.

— Ты, думаешь, они на всё способны? — настороженно оторвалась от простыней Тонька.

— Если бы мы не уехали тогда из Москвы... Не согласились на их условия, нас просто бы убили, — тускло и ровно сказал Игорёк, — пропали бы без вести, и всё... И с тобой бы не стали церемониться, единственной наследницей...

— И ты это так спокойно!.. — сжала простынки на груди Тонька. — Вот так, зарезали бы, как нашего Байкала, и всё? И никто бы не защитил?! Никто! Никто! — стала она бить стопкой белья себе по коленям. — Ни милиция, ни люди! Как легко... зарезать человека, довести до смерти, как папку... И никому ничего!

— Тихе, — решился всё-таки погладить Тоньку Игорёк, — не будем об этом... Байкал напоролся на гвоздь в заборе, слесарня сгорела от проводки, отец твой умер от инфаркта... Ничего уже не докажешь и не поправишь.

— Ты знаешь, — неожиданно спокойно заговорила Тонька, перебирая разъехавшиеся простынки в руках, — когда я пошла тогда, утром, часа в четыре попить в кухню, я услышала, как завизжал Байкал... Какая-то вспышка потом была и польхнуло заревом в саду... Я подошла к окну, и мне показалось сквозь кусты, что кто-то перелезал через забор... Какой-то тёмный, здоровый, но плавно так, как большой паук, переполз на ту сторону... Страшно до сих пор. Б-р-р! — Тонька поёжилась.

— Ты мне уже рассказывала об этом, — обнял Тоньку Игорёк, — это ещё раз доказывает, что всё здесь непросто... И Байкал, которого, скорее всего, ножом... И этот придуманный гвоздь, и причины пожара по протоколу,

и сердце твоего бати... Именно тогда, неслучайно... Но мы ничего изменить, переделать не сможем. Мы никто. Нас нет. Мы ничего не решаем. Это я перенял, когда нас с матерью кинули, как ветошь, в машину и привезли сюда... — Игорёк разволновался и поцеловал Тоньку в голову. — Тут надо думать, как дальше нам. Помнишь, после Покрова по деревне перекупщики ездили? — вдруг зашептал он в ухо Тоньке. — Так я им сплавил половину тёлочек и свиной... Кстати, юрист этот надоумил... Ты в тот день в город ездила, я тебе не говорил... В общем, у нас пол-лимона есть!

— Пятьсот тысяч?! — изумлённо глянула Тонька на Игорька. — А я всё думаю, на что жить будем? А ты вон как! И правильно, не всё же им оставлять! Слишком жирно будет!.. Давай в город уедем? — неожиданно предложила она.

— Для города у нас этого самого... маловато, — пошуршал пальцами в воздухе Игорёк. — Начнём угол снимать... За два года проедем всё. Нам бы ещё лимон, можно было бы домик купить! Я бы пошёл работать, всё-таки три курса в финансовом колледже, может, бухгалтером куда... Ты бы продавщицей в магазин... Так бы и пошло цепляться одно за другое. Но... не хватает пока! — с сожалением выпятил острый подбородок Игорёк.

— А если продать твою хибару, мой... этот, дедушкин дом? — осторожно сказала Тонька.

— Думал... Это вообще-то вариант, — пристально, чему-то улыбнувшись, посмотрел на Тоньку Игорёк, — но продать сейчас непросто, кризис... В интернете смотрел, в Романове много жилья на продажу выставлено, по два-три года некоторые объявления висят... Не берут — рынок ушёл. Конечно, можно, если цену процентов на сорок сбросить... Но нам это надо?! — Игорёк ещё раз внимательно оглядел Тоньку, машинально перенял у неё из рук простыни, бросил на ближайшую коробку.

— И что делать? — понурилась Тонька.

— Думать будем! — молодцевато сказал Игорёк. Ему явно нравилась роль ведущего в их тандеме. — Поживём пока, как есть... Скотиной обзаведёмся, молоко, мясо... Глядишь, какая копейка и набегит.

— Если так, то... — Тонька неожиданно хитро посмотрела на Игорька, — то может, пока ещё есть время, позаимствовать отсюда сегодня вечером корову, тёлочку ещё какую?

— Ого, вот мы какие! — усмехнулся Игорёк. — А я всё думал, когда папаша проклянется! Молодец! По-другому с ними нельзя! — нахмурился. — У перекупщиков, я им пятьдесят тысяч за это дело уступил, сейчас в надёжном месте и коровка наша, и свинка, и полуторница, как говорят тут в деревне... Уляжется всё — перевезём к зиме домой.

— Не проболтаются?

— Пятьдесят тысяч за молчание — хорошие деньги! — раздражённо бросил Игорёк. — А даже если и стукнут, попробуй докажи, что скотина отсюда, опись уже сделали, по акту всё приняли, ищи теперь ветра в поле... А как они хотели? — Игорёк вдруг вскочил и нервно зашагал по комнате. — Здесь люди горбатились годами, а они — раз, и хозяева всего! Нет, так не бывает! На всякое действие есть и противодействие, — вздохмаченно и зло заговорил он. — Они думают, что будут нас ошкуривать, как липки, а мы будем терпеть! Шиш с маслом! Они у нас воруют, и мы у них воровать будем! Они нас за быдло держат, и мы на них положили! Они на Мальдивах нежата, и мы не бей лежачего! Они нам ничего не платят, и мы им соответственный энтузиазм! Они нам дикий капитализм, и мы им нашу дикость в морду! Они нам презрение, мы им нашу злость! Они богатеют — мы беднеем! Так уже было, в семнадцатом всё перевернулось! Они доведут народ! Они дождутся! По полной отгребут!

— Игорёк, ты о чём? — недоумённо посмотрела на него Тонька.

— Ни о чём! — волчком засверкал глазами Игорёк.

— Напугал... — сказала Тонька, вставая с дивана и одёргивая халат на заметно раздавшихся за последнее время бёдрах. — Скоро три, а мы с тобой даже чаю не попили... Пойду гляну что-нибудь в холодильнике, заодно отключу...

Игорёк с остервенением снова набросился с бечёвкой на заполненные коробики. Тонька на кухне, слышно было, отрывала друг от друга с искристым шорохом перемерзшие, спаявшиеся пакеты в морозилке, выкладывала с каменным стуком на стол. Потом хрустко разворачивала насмерть задубевшие пакеты, ломая наледь, колкими ледышками падавшую на половицы, на время затихала, видимо, принохиваясь к содержимому в упаковках. Вдруг что-то увесисто стукнуло об пол, и Тонька закричала противным, дурным голосом, как если бы прикоснулась к какому-то страшному ядовитому гаду или взяла в руки лотерейный билет с нечаянным выигрышем в миллион. Сердце оборвалось у Игорька, и он в три прыжка очутился на кухне.

Тонька с изумлённо-вытянутым лицом каменной бабой со скифских курганов монументально застыла между холодильником и столом, у ног её валялся в прозрачной, заиндевевшей плёнке бело-розовый кусок мяса, в руках Тоньки подрагивал раскрытый полиэтиленовый пакет.

— Что случилось? — подлетел к ней Игорёк.

— Посмотри! — прошптала Тонька, протягивая пакет.

Пакет никак не хотел освобождаться из её рук. Игорёк вырвал его, шмякнул на стол, заглянул внутрь.

— Ничего себе! — ахнул он, — а мы искали... Вот они, миленькие! Да тут их! — Игорёк запустил руку в пакет. — Да тут их!.. Ого, какие котлетки! — Он стал извлекать из мешка одну за другой перетянутые резинками пачки денег. — Раз, два, три, четыре...

Насчитали сорок пачек, в каждой по сто тысяч тысячными купюрами.

— Хватит с верхом на однушку в Москве, где-нибудь в Кузьминках! Полный улёт! — захлебнулся, целуя Тоньку, в нервном восторге Игорёк.

Через месяц Тонька с Игорьком расписались. Взяли как молодожёны льготную ссуду, купили корову, тёлку, свинью (выгодно сторговались с перекупщиками, говорила Тонька соседям), занялись хозяйством. Жили ладно, мирно, не пили, не скандалили. А по весне Игорёк (как он всем рассказывал в деревне) получил неожиданно в наследство от бездетной тётки в Москве однокомнатную квартиру в пятиэтажке в Кузьминках. Продав скотину и за небольшие деньги (тут покупатели нашлись быстро) два своих домика, они незаметно и тихо навсегда покинули Романово.

13

С утра Генка стал настойчиво и грубо гнать жену в город, проведать дочь. Людка вот уже три недели не появлялась дома, отделялась звонками по мобильному телефону.

— Съезди, посмотри, что она там. Как бы вконец не скурвилась, шалава! — давил на Нинку Генка. — Долго что ли смотаться? На обеденном туде, вечером обратно... Чую, курва, очередного хахала завела!

— Что ты несёшь? Ты в своём уме? — пробовала защищать дочь Нинка. — Девка на четвёртом месяце!

— Знаем мы, какие они бывают на четвёртом месяце! — заходилса Генка. — Давай собирайся, и мухой на остановку! Пока я тебе ускоренье посредством одного рычага, — Генка бил по воздуху ногой, — не придал! Ну, что смотришь, как овца под ножом? Не зарежу! — глумливо улыбалса теряющий чувство меры, развинченный Генка. — Давай, давай, шевели батонами! Думать потом будешь!

Нинка, как всегда, сдалась, покорно ссутулилась, стала собирать деревенский гостинчик в город. Положила в негнущуюся, из грубой искусственной кожи сумку банку сметаны, банку творога, с десяток луковиц, пару головок чеснока, килограмма три картошки. Всё экологически чистое, от собственной коровки, с уваженных, без химии, грядок. Крепкая, сильная ещё старуха, сдающая Людке угол, любила здоровую, полезную пищу.

В час дня Нинка, обрядившись в толстый стёганный пуховик, мохеровую шапку-берет и зимние сапоги — с ночи резко посвежело, землю схватил крепкий морозец, — направилса по ставшей звонкой и просторной улице на автобус.

С уходом жены Генка забегал по дому, решительно засобирався. Достал с печки ватные штаны и телогрейку, куда они обычно бросались весной на просушку, из печурки — плотные, крупной вязки шерстяные носки, нитяные рабочие перчатки, в кладовке нашёл брезентовый плащ. Вытащил из шкафа ружьё, разобрал. Сунул с десятка патронов в карманы плаща. Нашёл охотничий складной нож в столе. Подумал и налил полную фляжку самогона. Как-ие-то двести граммов — ерунда! Фляжка из нержавейки, купленная по случаю на рынке у бывшего работника бывшего военного завода, с вогнутыми краями под изгиб тела, уютно и ладно легла в боковой карман пиджака. Всё готово! Генка посидел, поёрзал на табуретке на кухне, похлопал рукой волосы на голове: “Нет, прощать тут нельзя! Они за всё ответят! А там будь что будет!” Налил стаканчик: “Ну, вперёд и с песней!” Закусил свежим, ещё слабо просолившимся салом. Васька Чистяков недавно резал свинью, подбросил по-соседски шматок. Ну, Нинка ему, естественно, молочка... Генка взглянул на часы. Три! Пора! Боевито встал, быстро переоделся во всё приготовленное. Повесил на шею на ремне под плащ разомкнутые приклад и ружейные стволы, цевьё сунул за голенище. Кажется, всё! Прихватил у порога с гвоздя драной кошкой висевшую шапку из кролика — в ней с холодов работал по хозяйству... Ба! Главное, можно сказать, едва не забыл! Вернулся в комнату, вытащил из-за дверного косяка комок салфетки, тщательно упрятал в карман рядом с фляжкой. В сарае взял косу, верёвку, через заднюю калитку вышел на задворки. По седой от инея, пружинящей под ногой, подмёрзшей отаве направился в сторону Алексеевского ручья... Накосить осоки на подстилку корове. Прежде коровам стелили солому, которую выписывали скирдами в совхозе, но теперь-то где её взять! Приноровились ходить до глубоких снегов за осокой за полкилометра к Алексеевскому ручью... Всё правдоподобно.

Алексеевский ручей начинался тонкой, прерываемой прозрачными зеркальцами луж, беззвучной струйкой из небольшого, заросшего розогом озера в лесу. Пересекал неглубокой, вязкой канавой Бякино поле, затем под уклон начинал яриться, зарываясь всё глубже в землю, и за селом пошумливал уже вполне утвердительно по песку и перекатам, среди густо и тесно сросшегося ольшаника в глубокой балке. Затем снова набирал скорость, уверенность в голосе и впадал уже бойкой, говорливой речушкой километрах в трёх от Романова рядом с мостом в Кержу. Туда-то и держал путь Генка...

Спустившись по оттаявшему на припёке, в жемчужовых нитях росы на траве, влажно блестящему солнечному склону балки к ручью, Генка огляделся и, убедившись, что он здесь один, запрятал в кустах косу и верёвку, надломил для заметы ветку и пошёл, не оставляя следов, по неглубокой воде вниз по течению. Минут через сорок добрался до устья ручья. Здесь, прыгая по камням, хватаясь за ветки деревьев, выбрался из-под подмытого, крутого берега на пойменный луг у реки. Надел перчатки, срезал ножом небольшую рогатину у первой же ольхи, на ходу заострил черенок. Поднялся на прибрежный холм с берёзовой рощей на макушке. Покружил, выбирая позицию, стараясь не выходить на опушку, между голыми, уже сбросившими листву, синей эмалью неба поблескивающими на просвет деревьями. Место было идеальное. Дорога метрах в пятидесяти впереди была как на ладони, просматривалась далеко в обе стороны. Генка решил устроиться у самой толстой, крайней со стороны реки берёзы — от неё нырнуть в кустарник на берегу — дело нескольких секунд. Нагрёб к берёзе палой листвы, снял с шеи и собрал ружьё, прилёг на мягкое, пушистое ложе из листьев, поцелился. Выкопал ножом ямку, с силой вогнал в неё рогатину, утрамбовал вокруг землю. Рогатина встала прочно. Так стрелять в засаде для верности научил его в армии кореш, с кем ходили вместе в караулы, охотник с Дальнего Востока. Зарядил ружьё, положил стволами на рогатину. Теперь оставалось только ждать. Лежать на толстом слое листьев в ватных штанах, телогрейке и плаще было совсем не холодно. Да и содержимое фляжки согревало...

Было уже около шести. Солнце, насаживаясь на острые зубцы дальнего леса, разлилось жёлто-оранжевой лавой по горизонту, как проткнутое яйцо желтком. Подмораживало. Тихая, хрустальная ясность опускалась с небес на

землю. Зрение у Генки обострилось. Все предметы вокруг: деревья, кусты, бурые шапочки пижмы у дорожки, трещины на асфальте — приобрели необыкновенную резкость и различимость. Генка знал эти странные минуты причудливой игры уходящего света по охоте на вальдшнепов на вечерней зорьке, когда тенью кувыркаящаяся среди ветвей влюблённая птица вдруг обретает необыкновенно зримую графическую завершенность. Только успевай сажать на мушку! Выстрел в такие мгновения бывает всегда безошибочно верным... “Самое бы время сейчас”, — подумал Генка, но нужной машины всё не было. Изредка пролетали мимо на своих тяжело гружённых дарами осени, подержанных инмарках явно запаздывающие проскочить до пробок в Москву дачники. Но всё не было и не было той, которую ждал Генка. А какая была выбрана позиция! Перед холмом дорога шла в горку, затем было несколько метров ровной поверхности, а дальше довольно крутой уклон к реке, на мост. Водители, выныривая из-под горки, обычно сбрасывали скорость, переводили машину на нейтральный ход и по инерции шустро катили вниз. Вот когда они переключались на нейтралку и на какое-то мгновение словно замирали, какой лакомой становились они мишенью! “Бах! Бах! И всё!” — приготовлялся Генка, поводя мушкой по-над дорогой. “Ну, где же? Неужели прозвал? Обычно в шесть выезжает!” — Генка уже извёлся, выкуривая в кулак очередную сигарету, а затем раздражённо заталкивая окурок в коробку со спичками. Но вот, наконец, в шесть пятнадцать (пятнадцать минут по колдобинам до околицы, прикинул Генка) блеснула от деревни ярким светом очередная машина. Всё ближе... “Ага, белая...” — Генка лёг на живот, раскинул, как учили, широко ноги, приладил поудобнее ружьё на рогатине, взвёл курки, по-звериному остро и чутко замер, стал вглядываться в быстро приближающуюся легковушку. Вот затрепетала на антенне знакомая чёрно-оранжевая ленточка, вот рельефно вырисовался в закатном сиянии узнаваемый профиль... “Один... нормально”, — с каким-то неожиданным облегчением прицелился Генка. Вот машина перешла на нейтральный ход. Генке, казалось, передались действия водителя, он почти физически ощутил, как тот выжимает сцепление, переводит рычаг скорости в нейтральное положение. Вот машина словно замерла... “То, что надо!” — сказал себе Генка и, подчиняясь интуиции бывалого стрелка, взяв на несколько метров впереди машины, плавно потянул на себя спусковой крючок. Вспышка, толчок в плечо, сизый дым! Тут же перекинул палец на вторую скобу. Почти дуэтом — второй выстрел! Между ними — секунды. Первый заряд картечи пришёлся в переднее левое колесо, второй секанул по боковому стеклу где-то за водителем. “Не попал!” — что-то подсказало Генке. Оторвавшись от мушки, он увидел, как машина вильнула, припала на левый бок, развернулась поперёк дороги и закувыркалась, как игрушечная, под откос к реке. Генка вскочил, огляделся. От деревни отделилась ещё одна светящаяся точка. Пора делать ноги! Достал из бокового кармана бумажку, аккуратно развернул её и стряхнул что-то металлическое, искрой блеснувшее в закатном свете на землю. Прихватил ружьё, длинными прыжками под гору ломанулся к реке. В устье ручья затаился. Слышно было, как на дороге резко затормозила машина, потом закричали, захлопотали люди. Генка привычными движениями, на ощупь разобрал ружьё, перерезал ножом ремень. В глубокий омут, нарытый ручьём при впадении в реку, полетели с широким разбросом приклад, стволы, цевьё. “Какое ружьё!” — простонал Генка, с остервенением швыряя в воду патроны.

Вернулся он домой где-то за полчаса до жены. Растопил печку, поставил на плиту чайник, включил телевизор. В начале девятого пришла Нинка с автобуса. Скупно рассказав, что у Людки всё в порядке, хозяйка никакого баловства за ней не замечает, выглядит вроде неплохо, ходила на консультацию к врачу, делали УЗИ, показывает мальчика... Генка промолчал, нахмурено перебирал каналы, потом рывкнул, что хочет есть. Нинка стала молча собирать на стол. Нарезая хлеб, привезённый из города, тихо сказала:

— Андрюшка Смирнов разбился.

— Как разбился? Он что, лётчик? — съехидничал Генка, усаживаясь за стол.

— У моста через Кержу, на машине, — неодобрительно посмотрела на мужа Нинка. — Там “скорая” была, автобус останавливался...

— Ну и что? — часто застучал ложкой по тарелке с пшённой кашей Генка.

— Там и милиция была... — продолжала тянуть Нинка.

— Полиция! Ну и что? — раздражённо повторил Генка с кашей во рту.

— Женщины выходили, спрашивали... Один знакомый милиционер сказал, что живой...

— Полицейский, — снова поправил Генка, добавляя в кашу подсолнечного масла. — И чего говорят? Наверное, разогналса под горку, а тут подморозило, гололёд... Тоже мне, водила!

— Нет, — с сомнением покачала головой Нинка, — этот знакомый милиционер сказал, стреляли в него.

— Дурь какая-то! Кому он нужен? Стреляли! — протянул Генка, принимаясь за молоко.

— Не знаю, — привычно потупилась Нинка, — только женщины потом говорили, у него летом с Орешниковым чуть ли не драка была в клубе, ну, а тот-то известный бандит.

— Из-за этого стрелять... в мента? Чудно как-то, — зевнул Генка, — вечно эти бабы, напридумывают тоже!

Нинка жалостливо сморщилась, вопрошающе посмотрела на Генку.

— Ну, что ещё? Смотришь так, что молоко киснет, — недовольно отодвинул недопитый стакан с молоком Генка.

— А если они из-за нашей Людки? — дрогнула голосом Нинка. — Не стали бы её по милициям таскать...

— Ну, полная дура! — встал из-за стола Генка. — И чего только в эту куриную бошку не взбрёт! Иди дои корову! Охлонись! Я там, кстати, свежей осоки на подстилку притаранил... И что-то, когда пёр, не так спиной повернулся. — Генка, нарочито по-стариковски сгибаясь и держась за поясницу, отправился в большую комнату досматривать телевизор. “Уж со спиной-то точно эта балда запомнит, что был дома... Если вдруг спросят”, — подумал он, усаживаясь поудобнее в кресло.

...Первым, кто посетил Андрюху, когда тот пришёл в себя на вторые сутки в реанимационном отделении Иванградской районной больницы, был следователь местного отдела внутренних дел. Хмурый, если не сказать — угрюмый, с навечно вьезшейся озобоченностью на лице, полнеющий, с набухшими мешками под глазами, ничем другим не примечательный человек средних лет в давно не стиранных, обвислых джинсах и тёплой, на подстёжке, кожаной куртке. Старший лейтенант то ли Варламов, то ли Варфоломеев, Андрюха не разобрал — ныли сломанные рёбра, раздражал гипс, тяжёлым панцирем, как у черепахи, легиший на грудь и спину. Следователь, сумрачно и внимательно поглядывая на Андрюху, спросил, что он запомнил до катастрофы.

— Вспышку... слева, — прошелестел сухими губами Андрюха.

— Выстрелов было два... — уточнил следователь.

— Не помню, — отрицательно шевельнул головой Андрюха.

— Теперь уже не имеет значения, — бесстрастно сказал следователь, — его уже взяли.

— Кого? — напрягся Андрюха.

— Орешникова этого... Погоняло Кокос, — следователь с тяжёлым нажимом посмотрел Андрюхе в глаза. — Зажигалку с дарственной надписью обронил на лёжке... Да и пальчики сходятся... Правда, подстёртые, — за чем-то добавил он после паузы.

Андрюха вильнул глазами, уставился куда-то в потолок.

— Чего не поделили? — с доверительной прямоотой спросил следователь.

— Составнулись раз в клубе... — уклончиво сказал Андрюха.

— Крепко?

— Нет, так себе... Я ему кое-что прищемил! — грубо вырвалось у Андрюхи.

— Как, как? — оживился следователь. — Вот тут поподробнее.

Андрюха сконфуженно рассказал, “как”.

Следователь нежданно оживился, ударил ладонями по коленям, с удовольствием рассмеялся:

— Оригинальный приём. Хоть какой-то вырисовывается мотивчик. А из-за чего бодаться начали?

Андрюха насупился, замолчал.

— Понимаю, всё, как всегда, — из-за женщины! — насмешливо протянул следователь.

Андрюха тяжело молчал.

— Ну, ладно, ладно, — зачем-то поддёрнул повыше одеяло на Андрюхе следователь, — потом как-нибудь расскажешь... если понадобится... хотя, думаю, обойдётся, — добавил с особым оттенком в голосе.

— И что теперь будет? — почему-то виновато посмотрел на следователя Андрюха.

— Посягательство на жизнь сотрудника правоохранных органов... от двенадцати до двадцати. С учётом того, что рецидивист, огребёт по верхней отметке...

— Зверем выйдет, — сказал неожиданно Андрюха.

— Не бойсь, вряд ли выйдет, — усмехнулся следователь, — тубик он где-то недавно подцепил... А там его кто лечить будет!

— Я не об этом, — смутился Андрюха, — просто тяжёлый случай, человек всё-таки...

— По всему ты мент, вроде, — пристально посмотрел на Андрюху следователь, — а сердце с ватой... — Посидел, поёрзал молнией на куртке, добавил: — Он всё равно приговорённый, прокуратура рыла... У него был серьёзный мухлёж в этом вашем баре — бодяжил, серые схемы, продавал спиртное без лицензии, спайвал пацанву, “колёса” там разные... Его бы всё равно лет на семь закрыли.

— Ну, не на двадцать же с тубиком... — снова сказал то, что не следовало говорить, Андрюха. — И вообще, зачем он это... со стрельбой? Странно...

— Что, думаешь, не он? — вдруг пытливым, лукавым светом засветились равнодушные глаза следователя.

— В целом-то он, конечно, отморозок... Пытал же он, говорят, когда рэкетом занимался, — поправился Андрюха, — но вот так сразу стрелять? — вновь неправильно задумался. — Слишком мало времени прошло... Не дурак же он.

— А стрелок был вполне подготовленный... из ружья, с дальнего расстояния, по движущейся машине... Километров сто держал? — живо поинтересовался следователь.

— Нет, где-то под девяносто шёл... — замялся Андрюха.

— Всё равно, на приличной скорости... Попробуй, попади! — с удовольствием вдруг продолжил следователь. — Он, в смысле стрелок, даже подпорку-рогатину предусмотрел... Профи! А этот Орешников... Простой бычара, киллерству не обученный... Даже в армии не служил...

— Может, нанял кого... — неуверенно сказал Андрюха, не понимая, куда клонит следователь.

— Он говорит, подстава... — пропустил мимо ушей замечание Андрюхи следователь, — намекает даже, что знает, кто это мог сделать, но доказательства своим предположениям, судя по всему, не имеет... Кто тебя ещё мог до смерти “полюбить”? — неожиданно остро взглянул в глаза Андрюхе следователь.

— Не знаю... — отвёл взгляд Андрюха, и сердце его оборвалось. — Врагов вроде смертельных нет...

— Нет так нет, не бери в голову, это я так, для себя... — снова потух следователь. — Что бы ни говорил этот Орешников, всё равно закрывать будем, так решили... — вздохнул следователь, и лицо его снова обрело выражение вечной озабоченности. — За ним, по некоторым источникам, какая-то ещё тёмная история с каким-то там вашим фермером... Сожгли якобы у него что-то люди Орешникова, мужик от расстройства помер, а он был

в какой-то связи с началом... Ну, это к твоему делу не относится. Тут уже другие люди... — Он тяжело встал со стула, долго возился с заедающей молнией на куртке. По дороге к двери бросил через плечо:

— Окончательно оклемаешься, напишешь заявление о посягательстве, что, мол, такой-то посягал на мою жизнь за попытку пресечения мною его противоправной деятельности... Дня через два зайду, оформим протокол.

— Да я вроде ничего не пытался... пресекать, — трудно соображая, заволновался Андрияха.

— Ничего, сварганим что-нибудь, — уже у порога, держась за ручку двери, усмешливо отозвался следователь, — будешь и пострадавшим, и свидетелем... Не прилетать же к делу яйца посягавшего... и твою девушку.

Какая-то скользкая, неприличная двусмысленность мелькнула за последними словами следователя. Как будто он знал что-то большее... Может быть, подумал Андрияха, и о той стороне отношений между Людкой и Орешниковым, что приоткрылась неожиданно ему летом и что так грубо и непредсказуемо скособочила, развернула и кинула кувыряться, как его машину под выстрелами, всю его до этого размеренную и худо-бедно налаженную жизнь. Что-то подсказало вдруг Андрияхе, что вся эта мутная, грязная история с Орешниковым на этом не закончится, что она только начинается. Что впереди у неё продолжение, какое-то опасное, недоброе продолжение. Предчувствие беды шевельнулось в его сердце. Андрияха не был трусом, в армии прыгал с парашютом, в ментовке не робел в разборках с самым отпетым хулиганьём... А тут вдруг обмяк, обмер перед уловленной каким-то особым чутьём фатальной преддрешённостью. Андрияха почувствовал, как разом покрылся потом, как стало неловко и тесно под гипсом, что хоть сдирай его с себя! “И всё пошло не так с её появлением... Одни проблемы от неё! — разошёлся Андрияха. — А если ребёнок мой? Надо распутывать как-то этот клубок”, — думал он, прикидывая, что, может быть, после больницы надо встретиться с ней, выяснить всё и определиться. Вспомнились слова её папани, что женщина всегда знает, от кого... Представил, что тестем станет человек, который бил его родного отца. Бред какой-то! И вновь он впал в беспокойную, потную маяту. “А если стрелял он?” — снова вынырнуло в сознании, как после вопроса следователя, кто ещё мог “полюбить” его до смерти? “Мог? Мог! Дядя Гена Демьянов известный придурок, рубанул же он когда-то монтировкой управляющего только за то, что тот сделал ему замечание, что халтурно работает, больше спит в тенёчке... Это отец рассказывал, когда вспоминал что-то из прежней, совхозной жизни. И рубанул уже после выяснения отношений, без свидетелей, подкараулив вечером... А как он уходил от нас тогда, в Покров — зубами скрипел! Да и с ружьишком никогда не расставался, браконьерствовал, лосей валил. Говорили, хорошо стреляет... Может, надо было сказать об этом следоку?” Но вспоминая встречу со следователем, какую-то отрешённость и торопливую озабоченность того, невнятный, в общем-то, разговор, начинал понимать, что тому было не до версий и разбирательств, что всё уже решено в другом месте и другими людьми. Да и Людку вылетать сюда ни в коем случае не надо, начнут таскать-разматывать... подробности вынохивать. Всё только окончательно запутается и осложнится. “Лучше этого дебила не трогать, — решил Андрияха. — А вот с ней?..” Как быть с Людкой дальше — он решительно не знал. Не приходило ничего в голову путного...

На следующий день дежурная медсестра передала Андрияхе пакет с фруктами и конверт с прозрачным слюдяным окошком, через который просматривалась часть фотографии... В таких конвертах гражданам обычно приходят “письма счастья” из налоговой. Андрияха сразу понял, откуда ему “счастье” привалило. На фото была довольная, улыбающаяся Людка у ярко-рыжей рябины где-то в деревне. Снимок был свежий, может быть, начала октября, судя по спелости рябины. И Людка представляла на нём спелой, молодой, красивой женщиной. Наливное яблочко! С однозначно угадываемым животиком под джинсовой, той самой, летней курточкой... Андрияха заглянул в конверт, нет ли письма или записки какой... Кроме фотографии, там изначально, похоже, ничего не было. “Что за дурь? Зачем?” — перевернул в раздражении

снимок обратной стороной. Прочитал густо подмалёванные шариковой ручкой, украшенные “девичьими” завитушками слова:

*Пусть милый взгляд твоих очей
коснётся карточки моей,
и, может быть, в твоём уме
возникнет память обо мне. Люда.*

“Полный кранец! — швырнул фотографию на тумбочку. — Идиотка! Чего ей надо?”

Вечером, когда медсестра пришла ставить капельницу, Андрияха поинтересовался, скоро ли разрешат его навещать.

— Когда переведут в общую палату, — сказала медсестра, загоняя привычно и ловко иглу в вену.

— Если придёт ещё раз... эта... с фруктами, — кивнул в сторону фотографии на тумбочке Андрияха, — не пускайте её ко мне...

Медсестра, опрятная, следящая за собой женщина в возрасте, с добрым, грустным лицом, повидавшая, видимо, в жизни всякого, пытливо взглянула на него:

— Мы это запретить не можем, если только главврач... А девушка очень симпатичная, куколка просто... — и осторожно добавила: — Кажется, в положении...

— Всё равно не пускайте! — повторил, раздражаясь, Андрияха. — Скажите ей, что я... умер!

— А говорить вот так никогда не надо. Такими словами не бросаются... да ещё, можно сказать, возвратившись с того света, — женщина стала освобождать из упаковки одноразовый шприц, — это в тебе нездоровье говорит... Сейчас сделаем обезболивающий, шприц, всё веселее будет.

Андрияха распалился, укол не брал его, так грустно и отчаянно было на душе. Дождавшись, когда уйдёт медсестра, сдёрнул фотографию с тумбочки и зло, решительно, морщась от боли в груди и позвоночнике, порвал её в клочья.

14

К середине октября волокита с оформлением фермерского хозяйства у Виталика Смирнова, похоже, завершалась. Благодаря ловкости и пронырливости Вадика Труханова всё шло быстро, в срок, без задержек и лишней суеты. Виталик наметил нарезать свои двадцать пять гектаров рядом с Хорьковкой, у плотины, где обычно завершал летом сенокос. Поле там было ровное, без оврагов, далеко от леса, а потому чистое, почти без дикороста. Практичный Виталик и это продумал, корчевать подлесок — немалые деньги нужны. Ну и, главное, земля — он знал это ещё по совхозу — была здесь не такой суглинистой и скудной, как на большинстве пахотных угодий по окрестностям. То ли сама природа так устроила, то ли удобряли почву здесь от века хорошо, но урожаи всегда снимали приличные. Хорошо родилась картошка, густым был клевер, ячмень давал по тридцать центнеров с гектара. Кубань, да и только! Уже приезжал из района кадастровый инженер, составил проект межевания, набросал схему участка. Радушно и хлебосольно принятый Виталиком, усаживаясь пьяно-рассупоненным в машину, нечленораздельно промышчал, что привезёт через недельку кадастровый паспорт. Оставалось самое малое: собрать пайщиков сгнувшего в небытие, образованного на базе совхоза сельского хозяйственного кооператива “Романовский”, принять большинством голосов и запротоколировать “решение о выделении у деревни Хорьковка двадцати пяти гектаров земли под крестьянское фермерское хозяйство, — говорил, как по-писаному, Вадик, — гражданину РФ Виталию Александровичу Смирнову, проживающему на территории Романовского сельского поселения”. “Чистая формальность, — растолковывал он Виталику, — мужики проголосуют хоть за чёрта лысого, им давно уже всё по барабану”. Для информирования пайщиков (как и положено по закону)

Вадик заблаговременно дал соответствующее объявление в местной газете.

На него-то и натолкнулся Ванька Кузнецов, просматривая как-то вечером после занятий в школе “Иванградский вестник”.

— Совсем оборзел! Ты только посмотри, что он творит, куркуль долбаный! И ртом, и сракой уже хапает! — Ванька даже гневно привстал со стула, затряс широко распахнутой газеткой.

— Ну, что за дикий ор снова! Не коров же пасёшь! — оторвалась от проверки тетрадей на другом конце стола Любовь Максимовна, с профессиональной, директорской придирчивостью взирая на взлохмаченную, начинающую пузато грузнеть, заплывающую с шеи плотным, возрастным жирком фигуру мужа.

— “Не каров пасёшь”... панимала бы чего, масквичка — в одном месте спичка! Бла-бла-бла! — по привычке задрознился, гримасничая, но миролюбиво и беззлобно Ванька, нарочито “акая”, намекая на городское происхождение Любови Максимовны. Та нахмурилась, подобралась, но промолчала, снова уткнулась в проверяемую тетрадку. — Нет, ты только послушай, что тут дееся?! Во козёл! Какие фортеля выкидывает! — Ванька на высоких тонах зачитал объявление о намечаемом выделении под Хорьковкой земельного пая Виталику Смирнову. Отбросил газету на стол, с пытливым раздражением воззрился, как ему показалось, на почему-то вдруг надувшуюся жену. Тоже мне, цаца!

— Ну, и что тут такого? — отозвалась действительно с неудовольствием Любовь Максимовна, досадуя, что приходится отрывать от проверки тетрадей. — Смирнов сразу после смерти Макарова — это всем известно — начал оформлять фермерство. Вот теперь берёт землю... А как же ты хочешь! — дёрнула она плечиком.

— Ничего я не хочу! — звучно щёлкнул на пузе резинкой заляпанных краской, вылинявших, как джинсы у хиппи, спортивных штанов Ванька. В одежде Ванька, как истинно творческий человек, был не особенно разборчив. Носил, что Бог пошлёт. — Только вот он нашу землю берёт! Нашу, кулачок хитрозадый!

— Какую это “нашу”? — улыбнулась, видимо, на “кулачка” Любовь Максимовна. Сняла очки, начала тщательно протирать линзы бельским кружевным платочком, вытянутым из кармашка свеженькой шерстяной безрукавки. Любовь Максимовна, в отличие от мужа, была чрезвычайной аккуратисткой. Себя и дом держала в необыкновенной чистоте и опрятности. Протерев, отложила очки в сторону, повернулась лицом к мужу. Без очков она стала вполне милой и симпатичной женщиной.

— Чего лыбимся! — тем не менее, строго посмотрел на жену Ванька. — Нашу — это нашу! Поле у Хорьковки, к которому ручонки свои жадные тянет этот суслик, — наше поле, кузнецовское! Мне и дед, и бабка, говорили... отец перед смертью рассказывал. Да тут все коренные знают — это была всегда наша, кузнецовская земля!

— Когда это было... — зевнула в ладонку Любовь Максимовна. Её однозначно беспокоила неубывающая стопка непроверенных тетрадей, а будильник на серванте, между тем, показывал уже начало десятого.

— Когда-когда? До революции ещё, — сказал, смутившись, Ванька.

— Вспомни ещё, что тут было, когда в шкурах ходили, — уже деланно снова зевнула Любовь Максимовна.

— И вспомню! А ты как думала! — задиристо запетушился Ванька. — Мы тут тыщу лет живём, с самого начала Романова! Может, кому-то и всё равно, что тут было и... что будет, а мне не всё равно! Мои предки тут каждый метр отбивали у леса, пни на пузе рвали... И вот отдай теперь наше поле чужому дяде?! Нет, так не пойдёт! По лапам своим загребущим получишь, по лапам! — Ванька для наглядности вдавил тяжёлой широкой, с доброго леща, ладонью по столу. Подскочили и встали дыбом очки Любови Максимовны на скатерти. Любовь Максимовна вздрогнула, цапнула очки со стола и суетливо водрузила на нос.

— Чуть какая-то, полная ахинея! — заговорила она вдруг решительно и с вызовом, обретя с очками привычную властность и распорядительность. —

Что ты раньше про свою землю не вспоминал, когда она бурьяном зарастала? Только теперь, когда Смирнов решил её взять, чтобы снова обрабатывать и... зарабатывать! — подняла вверх длинный, сухой палец, — вспомнил: “Это наше поле!” Жадность и зависть заедают? Тебе-то эта земля зачем?! — Любовь Максимовна нервно сдёрнула со стопки тетрадь, развернула, стала читать, механически скользя ручкой с красной пастой по странице.

Ванька задышал шумно и глубоко: вот всегда так, всегда она против, никогда не поддержит!

— При чём здесь жадность и зависть! При чём здесь это! — заклокотал он, с трудом сдерживаясь. — Я, может, тоже хочу фермером стать! У меня, может, тоже на это поле свои виды имеются. А ты со своей дырью, — всё-таки не выдержал, сорвался Ванька, — всегда, всегда всё обгадишь!

— Ну, конечно, я городская неумеха и полная дура! — вскинулась потревоженной змейкой Любовь Максимовна. — А он, весь такой умный и деловой! Он в фермеры, оказывается, собрался! Да ты корову одну-единственную прокормить не смог! Сена накосить не можешь! Всё картинки свои дурацкие малюешь! Крестьянин потомственный... “Мы здесь тыщщу лет живём...”! А у Смирнова коров — целых три! И табун овец! Вот это настоящий крестьянин, и фермер будет — дай Бог каждому... В отличие от некоторых, которые умеют только материться, пить, болтать и мазнёй своей никчёмной заниматься. В доме копейки на чёрный день нет! От зарплаты до зарплаты живём... О земле предков вспомнил, фермером решил стать! Демагог! — Любовь Максимовна, похватав в спешке тетради и ручки, решительно удалилась в соседнюю комнатку, так называемую спальню, где стоял маленький письменный стол, купленный, когда ещё дети ходили в школу, за которым она, видимо, и угнездилась, защёлкав выразительно и с нажимом выключателем настольной лампы.

Ванька, оглушённо и немо усваивая услышанное, машинально взял из вазы на столе яблоко — медово-жёлтую, прозрачную антоновку (из своего, между прочим, сада, посаженного не дядей, а им двадцать лет назад!), — понюхал, хотел было откусить, но раздумал и, взвесив яблоко на руке, вдруг с размаху, что было силы, вмазал им в дверь спальни:

— На, жри, тварь ненасытная!

Яблоко от удара взорвалось и разлетелось мелкими, сочными ошмётками, оставив на белой крашеной доске тёмное влажное пятно и несколько коричневых, серебрищихся семечек. Готов был взорваться и Ванька. Достаточно было одного неосторожного слова из-за двери. Но чуткая Любовь Максимовна затаённо молчала. Она знала, какую грань, за которой просыпалась “буйная Ванькина дурь” (определение уже первого года замужества), ей даже в самых жарких баталиях с мужем переходить никогда не следовало.

— То-то! — назидательно сказал Ванька и, потоптавшись для остротки, остывая, ещё какое-то время перед дверью в спальню, отошёл к окну. За окном раздельными, прядка к прядке, снежными нитями ткалось первое зимнее одеяние. Снег лился бесшумными, вертикальными струями и пропускал по ним откуда-то сверху, словно по проводам, ровный, мягкий свет. Редкое зрелище. Ванька подумал, что это надо запомнить, поглубже вобрать в себя, сохранить. А потом, может быть, и нарисовать... Выключил электричество в комнате. Стоял у окна, в проникающем свечении с улицы, любовался. Но как передать красками эту неповторимую, волшебную красоту? Способности к рисованию, видимо, были у них, у Кузнецовых, наследственные. Дед Анатолий, по мужской линии, сколько помнил Ванька, частенько, когда внуки делали уроки, брал у них цветные карандаши и ловко, быстро рисовал в школьном альбоме коровок на зелёном лугу, заснеженные избушки с синими дымками из труб, осенние берёзки с жёлтыми листьями... Что-то передалось старшему брату Вениамину, тот до постперестроечного, рыночного разорения работал художником-оформителем на крупном заводе в Иванграде. Сноровисто малевал на плакатах Ленина в кепке и с приветственно поднятой рукой; работяг в комбинезонах с открытыми, просветлёнными лицами, воодушевлённых решениями очередного съезда; сильные, мускулистые пролетарские руки, жёстко берущие за шиворот испуганного

расхитителя-несуна; башенные краны, строителей в касках, безбрежные нивы, плотины, трубы, ЛЭПы, мартевские печи...

Ванька тоже с детства рисовал. У него неплохо получалось акварелью. Вениамин привозил ему из города бумагу, кисточки и краски. Несколько пейзажей с лошадкой на переднем плане, весенних видов с грачами у него получились просто великолепные, и их купил у Ваньки по рублю за штуку приезжавший в Романово писать очерк о директоре Дьяконове журналист и увез с собой в область. Ваньке тогда было лет пятнадцать, и он был страшно горд заработанными на художественной ниве первыми деньгами. Выручил целых пять рублей. Накупил “улётного” “Солнцедара” и первый раз в жизни “укушался в сиську”. А потом... потом известно, что было, — служил, женился, пошли дети, учился на заочном в институте, работал... Всё, как у людей. Рисование отошло куда-то в сторону и стало как бы забываться.

Но когда пристроился в школу учителем труда и рисования, старая страстишка дала о себе знать. И ставя перед учениками на уроках как наглядное пособие свою тёмно-синюю эмалированную кружку, из которой пил на переменах крутой чай (особенно налегал на чаёк после похмелья), и объясняя, что такое светотень, Ванька невольно сам брался за карандаш и старался для пущей авторитетности воспроизвести на бумаге особенности игры света вокруг этой кружки. Или, когда вёл детей порисовать на природе в еловую рощу рядом со школой (кстати, роща эта была посажена Дьяконовым на своё пятидесятилетие, о чём Ванька, надо отдать ему должное, из-за уважения к памяти директора всегда рассказывал ребятам), то опять же прихватывал этюдник и набрасывал уже маслом пейзажную картинку. Что-то получалось у него, что-то упрямо не хотело передаваться на холсте. Ванька мучился от несоответствия того, что видит глаз и что воспроизводит красками рука. “Как отразить природу?!” — спрашивал он каждый раз, когда ставлял для просмотра свежие работы в большой комнате. “Как, как? — с ехидцей отзывалась вездесущая Любовь Максимовна, она в такие минуты почему-то всегда оказывалась рядом, насмешливо и с нарочитой беглой небрежностью проглядывая Ванькины произведения, — учиться этому надо. А ты думаешь, тят-ляп и сразу Репиным станешь! Поздновато спохватился. Делай лучше то, что умеешь”. — “А что я умею? По-твоему, ничего не умею!” — начинал яриться Ванька, решительно и зло переворачивая холсты лицевой стороной к стенке. “Почему же, — насмешливо играла глазками Любовь Максимовна, — у тебя с тракторами, машинами всё отлично получается...” — “Скажи ещё с пчёлами, козами, кроликами... с грядками, посадками, дерьмом!” — входил в раж Ванька. “С пчёлами пусть не пошло, проехали... — успокоительно переходила на деловой тон Любовь Максимовна, — а вот с козами, кроликами, может, что и получится... если... — Любовь Максимовна не выдерживала, иронично взглядывала на Ваньку, — если их, конечно, как корову, не променяют на картинки”.

“И всё равно рисовать буду, — бодрил себя мыслью Ванька у окна, — и этот снег, как смогу, нарисую... Буду “картинки свои дурацкие мелевать”. Какая всё-таки ехидна! Чего ещё надо ей? Сад, огород, кролики, козы — всё своё... И всё на мне! Денег, конечно, маловато... Мои пять тысяч, её четырнадцать в школе... Слезы, даже для деревни... Тут она права! — согласился он с женой. — Надо подумать, на чём ещё заработать...” — Ванька приклеился лбом к влажному, холодному стеклу, мысли толклись в голове куды, разорванные, как начинающие прерываться и редеть снежные струи за окном. Стали различимы в белой опушке черные заборы, дома и деревья на другой стороне улицы. Неожиданно показалось, как от калитки Смирновых отделилась тёмная фигура человека. “Странно, кому это в такую непогоду дома не сидится?” — Ванька стал глядываться в затихающую метель. Человек, подсвечивая тусклым фонариком, перепрыгивая канавы, перебрался через дорогу к Ванькиному дому, где было поровнее и не так изрыто техникой. За лужком перед воротцами Ванька следил, выравнивал и подсыпал землёй, заставлял объезжать мужиков на машинах и тракторах. “Да это же Генаха Демьянов!” — признал Ванька. И точно, временами растворяясь в слабующих снежных волнах, человек, проскочив до конца переулка

(шёл, показалось, возбуждённо, торопливо, почти бежал), свернул в сторону Демьяновского дома. Что он делал у Смирновых, стал гадать Ванька. Вроде никогда не дружили... более того... Вспомнилось, не без удовольствия, как Генка летом дал Смирнову в ухо. “Кувырк и мордой в лужу... Ухо, наверное, потом было, как пельмень. — Воображение нарисовало что-то бесформенное, темно-фиолетовое вместо уха у Смирнова. — А поля у Хорьковки не видать ему, как своих ушей!” — плавно вынырнуло вдруг в сознании у Ваньки и потянуло за собой ряд вполне конкретных мыслей и представлений, начавших как-то стройно и ладно складываться в завершённую, цельную картину. Всё-таки Ванька был художником!

Ванька подумал, и это стало вдруг его однозначным решением, что неплохо бы объединить паи с братом Женькой — у того с супружницей двенадцать с половиной гектаров, и у него с Максимовной столько же — и выделиться потом большим полем у Хорьковки, и сдать в аренду эту землю какому-нибудь ушлому москвичу... “А что?! — начал фантазировать Ванька, — сын Серёга, в Москве, в налоговой работает, крутится среди всяких деловых там, запросто найдёт какого-нибудь богатенького Буратино, тот возьмёт участок в аренду, как бы под фермерское хозяйство, потом выведет из сельхозоборота — с деньгами сейчас все можно! — и строй — не хочу дачи-коттеджи. Они сейчас все так делают, наваривают миллионы... Ну, и мы своё поймеем, когда землицу в собственность Буратинке по-тихому продавать будем”. “Клонут! Наверняка, клонут! — горячился в мыслях Ванька. — Поле в красивом месте, холмы, перелески, просторы... выходит к плотине, зеркало, хоть на яхте катайся! Опять же рядом дорога, от неё отсыпать свои полкилометра — раз плонуть, вдоль дороги линия — с электричеством тоже не будет проблем. Заглотят! Ещё как заглотят! — всё больше воодушевлялся Ванька. — Главное сейчас — перехватить землю у Смирнова! Вовремя я заглянул в газетку. Когда собрание этих гребаных пайщиков? Надо это дело как-то тормознуть! — Ванька включил свет в комнате, сгрёб газету со стола, стал внимательно вчитываться в объявление. — Т-э-с... На следующей неделе в среду, — забормотал он, — в здании администрации Романовского сельского поселения... Время ещё есть. Завтра сбегаю к Женьке — уроков в школе, вроде, нет... Поговорим, обсудим. Заодно проведу придурка безрукого!”

С утра Ванька зарезал для Женьки кролика. Окропил чистые, белые заносы у сарая красными, прожигающими снег каплями крови. Разделявая тушку, зафиксировал в сознании и эту картинку... Белый снег... красные бусины крови... Что-то в этом есть!.. В подарок братцу Ванька выбрал самого крупного и упитанного крола. Женька, средний из них, троих братьев Кузнецовых, был человек нервный, непредсказуемый, крученный, и с дарами к нему нужно было подступаться соответственно, с умом. Принесёшь ему что-то не то, обидишь как-то, и с подарком можешь в два счёта оказаться за порогом, а то и в морду нечаянно схлопотать. “Разговор будет серьёзный, да и подкормить надо долбака... Тут банкой козьего молока не отделаешься, — решил Ванька на столь щедрые подношения, — голодный, наверное... Один сейчас, да ещё с перебитыми граблями...” Дело в том, что Женька давно уже расстался (правда, не развёлся) со своей законной, оставил двух детей и сошёлся с какой-то заезжей бабой с ребёнком. Свою новую подругу, как и прежнюю, выпивая, поколачивал. Та терпела, пока не подрос её сынок. Стал заступаться за мамку. “Да я тебя, шкет, как гондон, в очко спущу!” — распальцовывался перед подростком мнящий себя блатным после двух пятнадцатисуточных отсидок в “ментовке” Женька и продолжал в отношении сожительницы с какой-то капризно-вызывающей мстительностью распускать руки. А “шкет” вдруг оформился в крепкого, малоразговорчивого, с жёстким взглядом парня, который в очередной “сеанс физиотерапии” (так говаривал пьяный Женька, когда начинал разбираться с подругой) подхватил у печки увесистое полено и несколькими решительными ударами молча перебил обе руки разбушевавшемуся “отчиму”. После чего они с матерью съехали “от безбашенного уroda” куда-то в город.

...Загребая неуклюжими валеными сапогами в калошах чёрную лишнюю листву из-под быстро таявшего снега, поднимая повыше, чтоб не запачкать,

матерчатую сумку с тяжёленькой тушкой кролика и бутылкой самогонна, Ванька шёл к брату, стараясь держаться деревьев и кустов, где грязи поменьше, периодически останавливался, очищал выломанным прутиком от налипших листьев и снега неразворотистые валенки, задумывался, почему-то вспоминал Женькины выкрутасы по жизни.

Сказать, что брат пил по-чёрному, Ванька не мог. Алкашом Женька не был, это точно. Бухать мог два-три дня подряд, не больше. Какой же он алкаш, если с бухлом и недели не выдерживал! Нет, он пил, как все. Значит, только выпивал. Но другое дело, когда выпивал, дураком становился полностью. “Еней Безбашенным” представлялся, когда перебирал, и заставлял называть себя так всех окружающих. Это “погоняло” ему якобы дал какой-то “крупный авторитет”, когда сидел с ним пятнадцать суток... Ну, не чмо, после этого? Какой настоящий вор попадёт на пятнадцать суток! Это у них — запахло. Генка Демьянов в армии зеков охранял, много чего про них рассказывал... Да и нашёл чем бахвалиться, если вдруг и так. Всё его куда-то тянуло не туда по жизни, к блатняку какому-то... Но чаще всего, когда пил, впадал в полный маразм. Дебил! Жить ему не хотелось. Всё кругом — дерьмо собачье. Никто его не понимает... А раз так, то шли бы вы все! Задолбало всё! Один раз резался, в бочину себе ножом засадил. Выжил. Другой раз стрелялся, полплеча из двустволки разворотил. Хотел в сердце, говорит, ружьё дёрнулось... Месяц в больнице валялся... В последний раз с зерносушилки сиганул, метров десять пролетел, только ногу сломал. Идиотам везёт! Теперь вот обезручился. Но тут уже другое, не сам вроде... Хотя всё, как всегда, у придурка по пьяни. Много наливать не надо...

Так думал Ванька, подходя к братнинуму дому.

Женька жил в двухэтажных кирпичных домах поодаль от старого Романова, на горке, где Дьяконов начинал строить новую деревню со всеми городскими удобствами. И они тогда, эти городские удобства в двухэтажных домах, были: ванна, горячая и холодная вода, паровое отопление, туалет со смывом. Женька, как и многие романовцы заезжали в кирпичные квартиры с энтузиазмом и восторгом. Ещё бы! Живём в деревне не хуже, чем в городе. Но когда всё рухнуло, и содержать центральную котельную стало некому и не на что, в новой деревне завывли: “Замерзаем! Некуда по нужде сходить!” Но наш человек непритязателен и приспособлив. Быстро наладил печки, на первых этажах — вековые русские, на вторых, чтобы перекрытия не обрушились, полегче — голландки и буржуйки. Ванные и туалеты пошли под кладовки. Во дворах разбили огороды, нагромодили банек, сарайчиков и туалетных будок из родного бросового горбыля. И всё вошло в свою естественную колею, и зажили все, как встарь! Только грязнее, скученнее и запашистее.

“Какая вонища! Они тут что, все в ведра делают? — с отвращением принохался в Женькином подъезде Ванька. — А разбомблено всё как!” — отмечал он, поднимаясь по искрошенной, в прожилках арматуры, давно не мытой, не метеной, в жидкой грязи бетонной лестнице на второй этаж, опасаясь задеть плечом исписанную похабщиной, с обвалившейся, мажущейся штукатуркой стену. Он редко бывал у брата, но, когда приходил, всякий раз поражался, как стремительны в своём продвижении запустение и разруха и как быстро человек свыкается, мирится с ними. “Бомжатник! Свины живут лучше!” — и на этот раз ругался про себя Ванька, пока не остановился, наконец, перед нужной дверью. На полу валялся вместо коврика кусок прелой мешковины, местами промокшей, со следами недотаявшего снега, с мазками свежей рыжей глины. “Кто-то совсем недавно зашёл”, — отметил Ванька и тоже потоптался, пошаркал бочками калош по тряпке. Бухнул кулаком в крашенную ещё советским суриком деревянную дверь. Звонок у Женьки с самого начала не работал. Женька перерезал его ножом в один из первых же в новом доме приступов обиды и презрения (когда ему в очередной раз жить не хотелось) ко всему окружающему миру. С тех пор к Женьке только стучали.

Открыл дверь неожиданно старший брат — Вениамин.

— Я на обеденном приехал, — сунул он на пороге, искренне обрадовавшись, Ваньке руку. — Сначала решил Жёку проведать, а потом думал к тебе.

— Ну, как он? — набросил Ванька выходную куртку, в которой ходил учительствовать в школу, на разлапистые лосиные рога, кося придельанные вместо вешалки на стене тесной прихожей; посмотрел на полы с задравшимся, нечистым линолеумом и направился в сапогах напрямиком на кухню.

— Сам увидишь, — сказал довольным голосом ему в спину, прикрывая дверь, Вениамин.

— Здорово, брателло! — тоже обрадовался Ваньке Женька, будучи под начальным, радующим душу, хмельком, и даже попытался приподняться из-за шаткого столика, но остановленный опасным креном на скользкой, пластиковой столешнице наполовину опорожнённой бутылки водки (“Венька привёз”, — отметил Ванька) и трёхлитровой банки с квашеной капустой, только с замахом приветственно протянул поверх стола руку в ортопедических шинах до локтя.

— Эй, вратарь, готовься к бою! — улыбнулся Ванька, осторожно касаясь ладони брата.

— А чё, чем не вратарь! — аккуратно постучал шинами, как вратарскими щитками, Женька по столу. — Хоть сейчас на лёд! Так что, братан, как видишь, поправляемся!

— Я тут тебе кролика зарезал, — приподнял над столом сумку Ванька, глядясь в худое, с провалившимися щеками, в седой щетине лицо Женьки, — совсем оголодал, вижу...

— Так уж сразу и оголодал! — порохом вспыхнул Женька. — Ко мне не только родной брательник раз в месяц заходит, есть кто и почаще... Без бацилл не оставляют!

— Знаю, знаю — законная твоя, Валуха, пацаны твои... Я их просил, — сдержанно сказал Ванька.

— Молодец какой, он просил! — сделал козу пальцами из-под шин Женька. — Никогда никого не проси! Не верь, не бойся, не проси! Слышал такое?!

— Куда кролика? — грубо оборвал брата Ванька.

— Да куда хошь! — зверьком ощерился Женька.

— Не успели встретиться и уже цапаются. Ну, что за народ такой! Чего делите, удельные князьки?! Дождётесь, Батый всех пожрёт! — как всегда, со “своей заумной хренью” (поморщился Ванька) встрял иронично наблюдавший за братьями “шибко грамотный” Вениамин. — Ты ничего существовнее не принёс? — спросил Ваньку.

Ванька, искося, хмуро поглядывая на Женьку, молча нашарил в сумке самогон, поставил на стол. Обиженно посопел, переминаясь и усмиряя нервы.

— Может, пожарим? — извлёк в прозрачном целлофане с подтёками розовой сукровицы тушку кролика, — крольчатина, она быстро...

— Да ну её на хрен, твою крольчатину! — закричал весело, как ни в чем не бывало, Женька, ласково трогая бутылку с самогоном, — кинь в холодильник, Валуха потом с картошкой потушит! Венчик, стакан брателле! Давно бы так, а то порожняк тут какой-то гонит!

Где-то через час Женька горячо, по-братски, больно сдавил шинами Ванькину шею, задышал в лицо кисло-сладким запахом самогонки и квашеной капусты.

— А ты голова, братуха! Офигенно придумал с землицей. Наварим баб-ла, будем жить, как белые люди. Ну, ты мастак! Не фуффло там какое!.. Это я, Еня Безбашенный, тебе говорю! Авторитетно говорю!

Ванька внимательно следил за быстро пьянеющим братом, и как только тот провозгласил себя Еней Безбашенным, незаметно, подмигнув почему-то смурнеющему на глазах Вениамину, втиснул самогонку на подоконник, густо уставленный пустыми бутылками. Надо было что-то решать, пока Еня Безбашенный хотел ещё жить.

— В среду на следующей неделе пайщики соберутся... Я же говорил вам, — напомнил Ванька, — Смирнов поле у Хорьковки точно оттяпает. Надо что-то делать...

— А хо-хо не хо-хо! — сказал Женька. — Это наша земля, наши деды тут, блин... Ты авторитетно сказал, пни корчевали! Хрен ему в зубы!

— Патриоты родной земли, значит... — недовольно заговорил вдруг Вениамин. — Не отдадим ни пяди родной земли родному мужику, который её будет холить и лелеять! А потом спихнем её за бабки московскому барыге! Так получается, мужики?!

“Мужики” недоуменно переглянулись.

— Ты о чём это, брателло? — сказал Женька, вопросительно взглянув на Ваньку.

— Совсем зачитался... Ку-ку! Жёлтый дом! — постучал Ванька согнутым пальцем Вениамину по лысой голове.

Вениамин неодобрительно отдернул голову.

— Я говорю, если вы так любите родную землю, то на хрен её загонять каким-то дельцам. Берите и сами обрабатывайте! Ну, а коли лень вперёд вас родилась, отдайте её тем, кто готов на ней работать! Вот что я говорю!

— Ух ты, какой умный... “Сами обрабатывайте!” — засмеялся Ванька. — И это говорит человек, который ничего тяжелее кисточки в руках не держал!

— Не болтай чепуху! — огрызнулся Вениамин. — Держал, всякое приходилось в руках держать!

— Оно и видно, — ухмыльнулся Ванька, — брюхо отрастил с кайлом и лопатой в руках — в дверь не проходит.

— Доходяга с лесоповала прям, — живо поддакнул Женька.

— Ну, вы тоже не уработались, — задиристо посмотрел на братьев Вениамин. — Один два раза в неделю годами ходит в школу одну и ту же кружку рисовать, второй встаёт и засыпает со стаканом.

Ванька только хмыкнул, Женька уязвлённо подскочил.

— Ты чё хочешь сказать? Что я синяк полный?..

— Местами... ещё не полный, — с осторожной насмешливостью сказал Вениамин. — Двадцать лет уже толком нигде не работаешь, только ханку жрёшь.

— И жру, и буду жрать! — в чём-то польщённый, совсем не обиделся Женька. — Пусть работают другие! От работы кони дохнут!

— А ты только языком горазд, как Троцкий! Где тут работать?! — налетел вдруг на Вениamina Ванька. — Глаза разуй, пургомёт!

— Ну, знаешь... Нельзя ли покорректнее, — недовольно покосился в его сторону Вениамин, — так можно и обидеться.

— Да обижайся! Что с тебя возьмёшь... “Покорректнее”... — передразнил брата Ванька. — Начитался дури всякой, наслушался болтунишек разных, и всю эту хрень нам тут впариваешь. Тридцать лет уже впариваешь! А в жизни ваши сказки почему-то не проходят.

— Тридцать лет... что-то “впариваю”... — изобразил недоумение на лице Вениамин. — “Ваши сказки” “не проходят”... Ты о чём? Кто тут пургу гонит?!

— Да ладно тебе валенком-то прикидываться, — колесом выпятил грудь Ванька. — Не ты ли при Мишке Меченом всё трындец, что вот, мол, прогоним коммунык, и жизнь у нас будет в ажуре. Землю поделим, фермерами заделаемся, работать будем только на себя, дороги, дома станут, как у них там, в Америке-Европе... Коммунык прогнали, и что видим?

— Ну, и что видим? — вскинулся с вызовом Вениамин.

— Да ничего не видим, кроме вот этой дряни, — достал, усмехнувшись, с подоконника самогон Ванька и разлил по стаканам. Женьке — меньше.

— Это чё, положняк? Это как понимать? — обиженно щёлкнул косо отросшим, грязным ногтем по своему стакану Женька.

Ванька, вздохнув, долил ему вровень со всеми.

— А видим мы, — продолжал Ванька, морщась от выпитого и лоя губами свисающую с вилки (единственной за столом) бахрому капусты, — что кранты нам тут... Встало всё и пошло назад.

— Это что-то новенькое в аргументации совков... “пошло назад”, — снисходительно посмотрел на брата Вениамин заслезившимися от самогона глазами.

— К нам недавно в школу батюшка заходил... В церкви приход открыли. Между прочим, подлатали, подчепурили церквушку, пять старушек теперь ходит... Священник этот, отец Димитрий, спрашивал у моей Максимовны разрешение на факультативные уроки по культуре православной, — с несвоей ему степенностью, как-то издалека повёл рассказ Ванька.

— Уже в школы лезут! — нервно вставил Вениамин. — Гоните этих толстопузых в шею! Мракобесы!

— А он, кстати, не толстопузый, в отличие от некоторых, — Ванька довольно сильно шлепнул ладонью по выпирающему животу брата.

— Ты что, обалдел, больно же! — оградил живот руками Вениамин.

— ...Худой, поджарый, здоровый такой лось, этот батюшка, — продолжил с плутоватой улыбкой Ванька. — Разговорились в учительской... Грамотный оказался парень, историю Романова где-то раскопал, много любопытного баил...

Вениамин, потирая живот, нервно и зло слушал брата.

— Так вот, — поднял руку почесать голову Ванька, — отец Димитрий рассказывал, что первую школу у нас открыли при храме, церковно-приходскую, значит... Сразу как отменили крепостное право. Это когда было?

— При Александре Втором, кажется... — недовольно шевельнулся Вениамин, — ну да, царь-освободитель... Ему памятник недавно в Москве открыли. Тоже за прогрессивные реформы бился... За что его такие же, как вы, благодарные соотечественники, и грохнули.

— В подвале без суда и следствия шлёпнули. Полный беспредел! — вставил лыко в строку Женька.

— Это другого... — поморщился Вениамин. — Ну и что, этот поп?

— Он говорил, что тогда в школу ходило где-то сорок-пятьдесят учеников, в зависимости от сезона, весной-осенью поменьше, зимой, когда работы мало, побольше.

— И чего тут такого?

— Такого тут вот чего, — сказал раздражённо Ванька, опуская руку на стол, — сегодня в нашей школе двадцать учеников! А первоклассников в этом году всего трое!

— Понятное дело, — не задумываясь, ответил Вениамин, — коммунисты неперспективные деревни уничтожили, вот и нет подпитки в людях!

— Ну, ты ловчило-жучило! — рассмеялся Ванька. — Вот вы все такие демократы!

— Какие — такие? — напрягся Вениамин.

— Скользкие... Так и норовите всегда вывернуться. Сами кучу наложите, а на других валите... Никогда не признаются! — хмыкнул Ванька. — Да в восьмидесятые, когда про эти неперспективные деревни уже забыли, в школе было триста двадцать учеников!

— Конечно, конечно... Насильственно согнали мужиков со всех окрестных деревень на центральную усадьбу, — выкрикнул Вениамин, — создали агроулаг, вот на время и разбухли — триста двадцать!

— Не агроулаг, а агроулак! — поднял со стола руку, сжатую в кулак, Ванька перед носом Вениамина. — Сто двадцать тракторов, девяносто машин, сорок комбайнов... Я был завмастерскими, всё помню! Каждую делянку-полянку обкашивали! Семь тыщ гектар засевали! А сейчас — ни одного! Лес на пашне вырос! Вот я и говорю, в обратную сторону поехали!

— Убери кулачище-то! Размахался тут! — отбросил Ванькину руку Вениамин. — Всё это было построено на страхе и принуждении, дутая мощь... Потому всё так быстро и развалилось.

— А вот это бла-бла не надо, — положил, не разжимая, кулак на стол Ванька, — надоело про этот страх и принуждение... Как телевизор ни включишь, обязательно затянут — гулаг, насилие, репрессии! А то, что у нас тут в деревне был детский сад и ясли, где детям на пианине играли, горячая вода вот у Женьки в квартире была, асфальт по улицам проложили, мужики бесплатно в санатории ездили — об этом ни гу-гу! Это вам невыгодно! Молчок! — застучал Ванька кулаком по столешнице. — Пятьсот лет Романово стоит, царское село, между прочим, историческая ценность, можно сказать...

Романовым царям принадлежало — священник этот в архивах раскопал! Пятьсот лет — подумать только! — росло... При царе было шестьдесят дворов, при коммунистах стало шестьсот! А сейчас — остановилось, назад пошло! Через десять лет в Романове будут только старики на печках пердеть... Пятьсот лет при всех царях-вождях село размножалось, а при твоих демократах сдохло! Вот так вы работаете, дебилы! Да вам за это! — Ванька снова поднёс кулак к носу брата.

— Это вы так работаете, совки дремучие, пеньки! Убери грабли! Достал уже! — ударил по руке Ваньки Вениамин. Ванька усмехнулся и с вызовом прочно усталил руку с кулаком торчком на столе. — Вам демократы землю дали! — смерил взглядом Ванькин кулак Вениамин и, приняв вызов, наступательно возвысил голос. — Пашите, сейте, зарабатывайте, живите свободно, как люди! А вы все пропили, разворовали! Одна пьянь и рвань! Ворьё и бездельники! Моральные уроды!

— Это кто тут ворьё и моральные уроды? — ловко цапнул рукой от стола Ванька брата за шиворот. — Это мы с Женькой? — затряс он из стороны в сторону Вениамина. — Да нам тут на ваши щеки по ржавой гайке не досталось... Разворовали страну, рассовали всё по своим, а теперь на народ валите!

— Да отпусти ты! — выпутывался, бесёном вертясь на табуретке, из-под руки Ваньки Вениамин. — Совсем обожрался, дуболом! Кретинны! — выскочил из-за стола напрямик в прихожую Вениамин, одёргивая новый, толстой вязки свитер и приглаживая взлохмаченные остатки волос на затылке. — Сколько раз говорил себе, не пей с недоумками. Тьма, глухая, злобная, агрессивная тьма! — тихо бормотал он в прихожей, суетливо натягивая на себя, не попадая в рукава, добротное тёмно-синее кашемировое пальто и порывисто затягивая модным узлом длинный шарф на шею. В “демократичные” времена Вениамин переквалифицировался в дизайнеры и занялся оформлением квартир и дач новых хозяев жизни. Заказов было немного, но кое-что перепадало. По крайней мере, на стильную одежонку хватало.

— Ты чё, уходишь? — встал на пороге прихожей, поскрёбывая пальцами живот через рубашку, Женька. — А говорил, погостишь!

— Нагостился, спасибо! — обиженно задёргал замок Вениамин. — На вечерний успею! Пока! — не подавая руки, захлопнул за собой дверь.

— Ты чё на него наехал? — вернулся на кухню, позёвывая, Женька. — Обиделся... слинял на вечерний автобус. — Женька подошёл к окну, отогнул установленную на подоконнике вместо занавески пожелтевшую газету. Глянул, заслоняя рукой от света, в темноту: — Снег совсем сошёл, невероятное, грязь по колено... В ботиночках приканал... Чё, не знает, что в деревню надо в сапогах ездить?! Расфуфырился, как фраер дешёвый...

— Вот потому и наехал, — недовольно отозвался Ванька. — “Бездельники, пьянь, ворьё, моральные уроды”... Откуда чего берётся, сам из деревни! — застучал ребром ладони по столу. — Землю отдай дяде... Как он прочирикал? “Родному мужику”, который её “будет холить и лелеять”. Во балабол, набрался словечек!.. Или сам обрабатывай! “Вам демократы землю дали, пашите, сейте”! Чудило! Словно не знает, почему сегодня сыра, электричество... На что технику, запчасти, семена купить?! Он думает, как по ящику тряндят, — на кредиты? Вон у нас был один, Мишаня Макаров, на кредиты жил! Говорят, так запутался, что подпалили, и от испуга сердце не выдержало... А когда помер, за эти кредиты невозвращённые у его дочери родной дом отняли! Вот как они живут, наши фермеры! А этот как будто ничего не знает, только что родился! Ну, не баклан после этого?! Вот я его мордой и в родные какашки!

— И правильно сделал, — согласился Женька, — фуфло он гонит, не понимает в жизни ни хрена. Все с книжечками там! А тут, сучара, руки поленом отшибают. Врач сказал — левая сохнет, нужно потом, когда шины снимут, процедуры какие-то особые делать. Платные. А где тугрики взять?!

— Что, действительно фигово? — Ванька посмотрел на брата, чувствуя, как у него увлажняются глаза. — С одной клешиёй в деревне крантец!

— Да вроде шевелится... — поработал пальцами левой руки Женька, — но что-то там рентген показывает не то... хотя, может, просто на

бабки разводят — сейчас эти доктора нищие, знаешь, какие ушлые... Но всё равно про бабло думаю... Тут бы с землёй сейчас в самый раз. — Мутно посмотрел на Ваньку.

— Собрание, пайщики эти долбаные... — Ванька взболтнул бутылку, разлил до конца по стаканам, — меньше недели осталось...

Женька взял стакан, одним приёмом опрокинул в рот, выдохнул:

— Пугануть его надо как следует!

— Как это... пугануть? — задержался со стаканом Ванька. — Мы что, бандиты какие?

— Я всё придумал, пока вы тут с Венькой бодались... Еня Безбашенный всё сделает, как надо, — принял “авторитетный прикид” Женька. Ванька понял — спекается. — Возьмём на испуг, не дёрнется! — И Женька принялся, часто выбрасывая пальцами “козу”, в лицах излагать свой план.

— А если не сработает? — Ванька всё-таки выпил, не почувствовав вкуса самогона, критически оглядел Женьку. Мелькнула надежда, что назавтра тот ничего не вспомнит.

— Ещё как сработает! Пара коронных фраз... А он конёк бздиловатый, задний точно включит! Еня Безбашенный разрулит... — Женька начал часто подмигивать, братаясь, снова больно сжимать шинами Ванькину шею, заговариваясь, чаще сплёвывать под ноги... Ванька отвёл кулём провисающего брата в комнату, уложил спать, укутав двумя одеялами, — печку Женька, похоже, не топил уже несколько дней.

...Странный, нехороший звонок по домашнему телефону застал Виталика Смирнова, когда тот, не закончив стрижку овец (оставалась одна ярка) в щелястом предбаннике овчарника, продрогший и оголодавший, заскочил в дом перехватить тарелку горячих щей. После Покрова, когда Томка наквашивала капусту на всю зиму, Виталик налегал на щи с бараниной, приправленные обильно острым красным перцем. В холода шли отменно... Щи он любил, сваренные в печи, не в кастрюле на газовой плите, а именно в русской печи, в большом старом пузатом чугушке, которых сейчас за ненадобностью уже и не выпускают. Щи в печи и чугушке получались отменные, сытные, перчёно-пряные, мягким огнём обжигающие, бросающие в жар до увлажнения макушки, особенно если с прозяба...

Вот и в этот раз Виталик вождельно подгащил ухватом тяжёлый пятилитровый чугунок из печи на шесток, сдвинул рукавицей-прихваткой плотную крышку набок, развернулся к столу за тарелкой и черпаком. Тут-то он и раздался, этот недобрый, неожиданный, заставивший Виталика почему-то вздрогнуть звонок.

— Да! — недовольно снял он трубку телефона на тумбочке под зеркалом в прихожей. Первые же слова, услышанные им, заставили его сердце сжаться.

— Слушай внимательно, фуфел! — глуховато, как сквозь вату, так что невозможно было разобрать оттенки, но однозначно наглым, приказным тоном заговорил кто-то на другом конце провода. — Поле у Хорьковки хотят взять серьёзные люди, а тут ты влез, сявка... Завтра же напишешь отказную. Въезжаешь?!

— Не совсем... Кто это? — сказал, обмирая, Виталик.

— Повторяю, дебил! Земля у Хорьковки не твоя. Завтра же напишешь, что отказываешься. Дошло, придурок?!

— С какой это кстати? — промямлил Виталик. — Межевание уже...

— Ты тупой? — грубо оборвали его. — Сказано тебе, утырок, серьёзные люди поле возьмут. Заднюю включай, баран!

— Да не буду я ничего включать! У меня сын в милиции! — закричал, приходя в себя, Виталик.

— Про сына сам сказал! — почудилось, ухмыльнулись в трубку. — А ещё есть дочь, вечером одна ходит... Короче, обдолбый зашибленный, если в пятницу в газетке не увидим отказную, проблемы будут у тебя! — Связь

оборвалась. По характерному, железисто-чмокающему звуку вхождения трубки в гнездо аппарата Виталик понял, что звонили из таксофона.

Щи, тем не менее, Виталик съел с удовольствием. Но без какой-то полной увлечённости процессом и сытой, нежной благодности, как случалось обычно раньше. Первый страх и пугливая мнительность прошли, не хотелось верить, что всё это всерьёз, мелькала мыслишка, что кто-то просто разыгрывает, шутит, может быть, спяну, из тех же пайщиков, допустим... Но выйдя на улицу, на подкалённый лёгким морозцем воздух, походив бесцельно по двору, по хрустким островкам истаявшего снега, согнав горячее послеобеденное возбуждение и словно протрезвев, окончательно понял, что с ним не шутили.

Разволновавшись, обстригая ярке живот, неосторожно цапнул до крови ножницами по одному из её коротких, до конца ещё не сформировавшихся, сосков. Овца часто задёргала по дощатому полу связанными по диагонали ногами, силло заблеяла, выворачивая в страхе фосфором вспыхнувший глаз на Виталика. Виталик извинительно погладил овцу по длинной, бархатистой морде и пошёл в дом за йодом.

Там была уже Томка. Сказала, что отпросилась с работы пораньше, чтобы с овцами помочь.

— Йод нужен... Сосок у ярки ножницами царапнул, — буркнул Виталик, пряча глаза.

Томка открыла шкафчик для лекарств на стене кухни, зазвенела, перебирая, склянками. Достала пузырёк с йодом и упаковку ваты.

— Машинку надо покупать, ножницами всегда так... Сильно зацепил?

— Да не очень... Но надо прижечь. Машинкой, конечно, безопаснее, только её, говорят, заедает... — Вместе вышли на улицу. Томка внимательно поглядывала на мужа. Тот, раздражаясь, упорно косил глазами в сторону.

Виталик придерживал овцу за ноги, пока Томка обрабатывала йодом ранку на соске. Всё делали молча. Потом Виталик, так же не проронив ни слова, на этот раз тщательно примериваясь ножницами, достриг ярке живот, распутал ноги и выпустил ставшую странной и смешной после стрижки животину в хлев. Томка собрала настриженную шерсть с пола в мешок.

— Ну, рассказывай, что стряслось? — мягко и осторожно сказала она.

Виталик помял водянистый пузырь у основания большого пальца на правой руке и рассказал всё, как было. От Томки, так уж сложилось у них, он никогда ничего серьёзного не утаивал. Знал, что последует либо правильный совет, либо искреннее сочувствие, что человеку в жизни бывает дороже всего.

— Мне кажется, это кто-то из местных, — задумалась Томка, — в городе ни одного таксофона не осталось... А у нас по деревне они ещё висят.

— И я об этом подумал, — согласился Виталик, — хотя голос незнакомый... спёртый такой, как при насморке...

— По голосам всех не запомнишь, да и кого тут только нет сейчас, — ясно посмотрела на мужа Томка. — Это, может быть, этот... Витька тюремный... — неожиданно добавила она.

— Может... тоже о нём подумал, — кивнул Виталик, — очень уж приглядно гундосил.

— Ну, это они сейчас все могут... Насмотрелись по телевизору про бандитов. Вот только зачем ему земля? — пожала плечами Томка.

— Да кто его знает, — нахмурился Виталик, — может, не ему... А тем, кто за ним стоит. Он же с ними связан... “Серьёзные люди”, этот говорил... понятно, что это за “серьёзные люди”. Может, нашу землю какое-то ворьё уже купило? А мы не знаем!

— Как это купило? — оживилась Томка. — Межевание уже было, кадастровый инженер приезжал... Они что там, в районе, ничего не знают?!

— Да кто их знает, что они знают! — заволновался Виталик. — Как прокальваются с квартирами? Покупают, вроде всё чисто... А потом собственник объявляется откуда-нибудь из тюрьмы... Так и с землёй. Никто не знает, кому она сейчас принадлежит! Сто раз её, наверное, уже перекупили и перепродали! Тут так запутали всё, что сам чёрт ногу сломит!

— Может быть, с этим, Вадимом Аркадьичем... из администрации, посоветоваться? — неожиданно предложила Томка.

— Думал и об этом, — снял бейсболку и почесал козырьком голову Виталик, — но что он скажет? Скажет: “Не дрейфь, прикроем”, — и всё такое прочее... Мол, осталось только собрание провести... У него в этом деле, кумекаю, — усмехнулся Виталик, — свой интерес есть... Покойный Бяка рассказывал... Дело тут в другом, и советоваться тут с кем-то бесполезно... Тут надо самому думать... Тут надо или до конца идти, или уступить! И так, и эдак прикидывал... Не знаешь, что получишь, что потеряешь! Но бояться надоело! Всегда кому-то уступать! А жизнь проходит... Дом каменный так и не поставил... Да ну их на хрен всех! Пусть будет, что будет! — Виталик нахлобучил бейсболку, возбуждённо заходил по сарайчику.

— И то правда! — вздохнула Томка. — Почему мы должны их бояться! Почему должны уступать! Можно один раз в жизни сделать так, как хочется... Правильно думаешь... — вздохнула она ещё раз, украдкой взглядывая на Виталика. — В субботу приедет Андрей, посоветуемся с ним...

— Объявление с отказом по хорьковскому полю этот потребовал... До пятницы... Сегодня вторник... — уточнил Виталик с какой-то странной запинкой в голосе.

— Всё, никаких объявлений! — почему-то смутилась вдруг и Томка. — Только вот Маринке надо позвонить... — И, посмотрев на почему-то погрустневшего Виталика, добавила запальчиво: — Нет, не надо им уступать!

На том и решили стоять. А когда в субботу приехал Андрей и полностью поддержал решение родителей, пообещав подключить к разбирательству со звонком “опытных профессионалов”, Виталик повеселел и даже прошёлся в воскресенье с утра по соседним мужикам с “персональным приглашением” прийти в среду на собрание пайщиков в сельсовет, как по старинке ещё называли администрацию Романовского сельского поселения.

15

— Ты что творишь, отморозок! — гневно зашипел Ванька с порога в лицо открывшему дверь брату. Наезжая грудью, бульдозером поволок Женьку в комнату. — Да тебе за такие дела башку отшибить надо, не только руки!

Худенький, на голову ниже Ваньки, уже слегка подвыпивший с утра, разбалансированный Женька, теряя устойчивость, мотыльком отлётывал от брата, ошарашенно отступал, бестолково месил перед собой воздух руками-щитками:

— Ты чё, брателло, спятил?! Что за дела!

— Сейчас объясню! Сейчас я тебе всё втолкую, придурок! — Затолкав Женьку поглубже в комнату, грозно навис над братом: — А теперь ты мне скажи, Еня-муденя, зачем стрелять надо было? В мента! Ты соображаешь, баран, что натворил?

В комнате было жарко натоплено. Реактивным соплом гудела в углу обложенная кирпичом, раскалённая докрасна буржуйка. С оттаявшего после морозов подоконника капало. Женька мазнул грязными пальцами из-под шторы по вспотевавшему лбу:

— Не врубаюсь, братан, мамой клянусь! Не врубаюсь!

В серых, бесхитростно-наивных глазах Женьки было столько искренней растерянности и недоумения, что Ванька понял — точно не “врубается”!

Всё ещё не решаясь произнести главные слова, прощупав ещё раз взглядом брата, Ванька снял куртку, бросил на голый, ничем не прикрытый диван, стащил с головы вязаную шапку, вытер повлажневшее лицо:

— Ну и напочегарил ты! Дышать нечем!

— Давно не топил, решил просушить хату... Валюха вчера дров натаскала, — быстро вставил Женька, тоже не спуская испытующего взгляда с Ваньки.

— В общем, — мрачно сказал Ванька, — вчера в Андрюху Смирнова, Виталькиного сына, стреляли.

— И что, убили?! — крикнул в изумлении Женька.

— Да нет... Тебе сразу “убили”, — раздражённо мотнул головой Ванька, — чудом, говорят, остался жив... Стреляли на горке перед Кержой...

Переднее колесо пробили, в самого промазали... До самой речки кувыркался в машине. Рёбра поломал, с позночником что-то, сотрясение башки там... Но жив! Сейчас в районной больнице, в реанимации... Бабы у сельсовета трепались, когда шёл к тебе...

— Да-а, крутые дела, — сделал умное лицо Женька. — Мента валить даже не каждый из братвы подпишется.

— Вот и я о том же, — не удержался и снова пристально посмотрел на Женьку Ванька.

— Так ты чё, брателло, на меня подумал? — наконец-то дошло до Женьки. — Ну, ты даёшь, кореш! Меня в киллеры записал! — с непонятым удовольствием, явно польщённый, неожиданно оживился и захихикал он.

— Да чёрт тебя знает! Ты же пугануть хотел... — утёрся снова шапкой Ванька, с любопытством вглядываясь в брата.

— Ну, пуганул Витальку... по телефону... так, слегка, — хвастливо бросил Женька, — но чтобы за ружьишко... Ты чё, брателло! Для этого Еню Безбашенного надо очень сильно разозлить!

— Ну, ладно, всё! Закрой варежку... Понесло! — поморщился Ванька. — Тут серьёзные дела заворачиваются... Ты лучше скажи, по телефону он тебя не мог узнать?

— Не мог! — взвился Женька. — Чё докопался? Хамишь!

— Не психуй! — с трудом сдерживая себя, сказал Ванька. — Наверное, уже следак работает. Смирнов точно расскажет, что его по телефону запугивали... Ты про детей его там, гангстер сраный, ничего не наплел?

— Опять хамишь! — аж подпрыгнул Женька. — Не помню! Звонил из таксофона у клуба, спешил, может, что и про детей было... А чё ты так заиграл? — ножичком в руке хулигана запорхал он перед Ванькой. — Очко заиграло? Не парься — нос платком зажимал! Ни одна пада не просечёт! Чё ещё надо?! Всё?! — в пляске святого Витта закружил вдруг по комнате Женька. — Всё?! А теперь вали отсюда! — подхватил с пола железный прут, которым шевелил в печке. — Вали отсюда! — рубанул по столу, по тарелке с остатками чего-то заплесневевшего, так что секанули воздух, словно картечью, осколки. — Вали, пока по черепушке не огрёт! — Охнул, выронил железку, схватился за больную руку: — Ты доведёшь меня!..

“Шиза, полная шиза! Допился... — подумал Ванька. — Сейчас завопит, что жить не хочет!” — и быстро подобрал с дивана куртку.

На улице Ваньку встретил ледяной ветер, шквалистыми порывами вылизывающий до блеска затвердевшую грязь на дороге. И откуда что взялось? Ещё с утра была полнейшая благодать с инеем на траве, серебряным сиянием подмёрзших луж, нежным, как дыхание младенца, теплом замирающего осеннего солнца. И вдруг ледяной удар Севера! И всё вокруг другое! “Как в жизни...” — думал Ванька и, боясь простудиться после Женькиной парилки, поплотнее притягивал руками в карманах куртку к плечам и пояснице. На душе у него было под стать погоде — тревожно, неуютно, размётано. Вот поругался и с другим братом. Похоже, надолго поругался. Но это ещё ладно, переживаемо — ругались и прежде не раз, по молодости доходило и до драк, потом мирились. Но на этот раз было хуже, поганее как-то, мутно чувствовал Ванька. И всё дело было в этом Женькином звонке... Зачем он тогда согласился? Несколько раз Ванька останавливался, прикрываясь воротником куртки от ветра, закуривал, крутил головой в надежде высмотреть хоть какого-нибудь знакомого на улице, подойти, поговорить — так на душе было погано... Никого! Только ветер играл в погремушки на открытых пространствах нападавшими, жестяными от холода листьями.

На доске объявлений поселенческой администрации с посеревшими от дождей и снега призывами прийти на очередные выборы, с списком злостных неплательщиков за свет и воду заметил свежий, белый клочок бумаги. С утра не было, подошёл прочитать. “Собрание пайщиков в среду по выделению земельных паёв Смирнову В. А. и его родственникам из фонда пахотных угодий бывшего СПК “Романовский” отменяется. — Написано было от руки на бумажке. — В связи с закрытием лицевого счёта КФХ Смирнова В. А.” Ванька с удивлением перечитал объявление дважды. “Ну и дела!” Выходило,

Смирнов сворачивает затею с фермерством. Не то чтобы приостанавливает, а обрубает полностью... “в связи с закрытием лицевого счёта...” Казалось бы, обрадоваться надо было Ваньке, но что-то вдруг заклинило у него в душе. Он поймал себя на мысли, что каким-то боком приложил руку ко всей этой поганой истории со Смирновым и его сыном. И сердце его заныло... Он стал думать, что зря затеял всю эту кутерьму с землёй, что никакая земля ему вовсе и не нужна... Годы не те, время ушло, и нет никакого желания и сил заниматься волокитой по выделению пая, поиском богатеньких жуликов-арендаторов с их тёмными схемами и деньгами, за которые человеку сейчас отворачивают голову с лёгкостью необыкновенной, как курёнку... Ванька снова пожалел, что согласился на авантюру “попытать” по телефону Смирнова. Кому что докажешь, если вскрыется, что совпало так: звонок этот дурацкий Ени и чья-то попытка по-настоящему укокошить Андриюху Смирнова. Неправильно, не по-людски получилось, начал корить себя Ванька. Ну, невзлюбил он с какого-то момента Витальку Смирнова, ну, хитрожопый тот мужичок, кулачок, ну, была эта история с собакой, ну, да чёрт с ней теперь, прошло всё, забыли... И вот, выходит, “не забыли”, всё по новой пошло? А главное, из-за угла, как-то получается, тоже шибанули... Нехорошо!

Ванька так разукорялся, что подумал вдруг, а не зайти ли к Виталику, чтобы сказать что-нибудь нормальное, утешительное? Но подхода к Смирновскому дому, раздумал. Что он может сказать? Сейчас уже ничего не скажешь. Дело сделано. Каяться — бессмысленно. Утешать? Но, слава Богу, до ситуации, когда серьёзное утешение понадобилось бы, не дошло... По-бабы как-то, глупо получится, решил Ванька и отвернул в сторону своей “фазенды”. И правильно сделал, поговорить бы всё равно не дали — к смирновскому забору, хрустя свежим ледком на лужах, подскочила видавшая виды, в серых, засохших кляксах грязи “Нива”. Ванька заметил, как из-за руля ловко выбрался на улицу кто-то гибкий и молодой ещё, выше среднего роста, в узеньком, фасонистом пальтишке и прикидной, клетчатой кепчонке. “Не начальник, скорее всего, следовательно...” — почему-то решил Ванька, ощутив неожиданный страх.

В самом сквернейшем расположении духа он вошёл в свой хорошо протопленный дом и, чувствуя в тепле, что изрядно продрог, не снимая куртки и резиновых сапог, во всей амуниции ввалился на кухню, нашарил за столом, в углу, припрятанную бутылку, нетерпеливо налил стакан самогонки. Выпил залпом, закусил холодной котлетой со сковороды. “И что я на неё всегда бочку качу! — благодарно подумал о жене. — Нормальная баба, всегда приготовит, в доме тепло-светло...” Повеселев, вернулся в прихожую, не спеша разделся, снял сапоги, прошёл в носках по широким, мягким дорожкам в большую комнату, взглянул, отодвинув занавеску, в сторону Смирновского дома. “Нива” стояла на месте. “Следак, видать, дотошный...” — снова тревожно шевельнулось на сердце. Ветер гнал струйки жёлтого песка и пыли по пустынной улице. “Хоть бы один гад показался! Вымирает деревня!” — с тоской подумал Ванька, чувствуя себя как никогда потерянным и одиноким. “Жизнь прошла, и не надо больше дёргаться! — вернулся он к прежним мыслям. — Все эти планы с землёй — полная ерунда и бредятина. Ну, какой из Ени, да из меня тоже, — мысленно усмехнулся, — бизнесмен! Один пьёт, другой никому не нужные картинки малюет... Обгадимся ненароком, на старости лет в дерьмо вляпаемся. Зря только человеку подгадили!” Какое-то время Ванька рассеянно наблюдал за смирновским домом, вздыхал, чувствуя себя “полной скотиной”. И на удивление трезвым. Не выдержал, вернулся снова на кухню, налил ещё полстакана. Теперь уже пьянея, полез почему-то, что не случалось с ним полжизни, по шаткой, разошедшейся лесенке на печку. Раздвинув до горячих кирпичей пахнущую прожаренной чистотой какую-то годами копившуюся рухлядь, постелив на каменное ложе нашаренный тут же, в ворохах забытой одежды старый полушубок, лёг на шелковистую овчину спиной и, окутываемый ровным, сухим теплом, начал блаженно и сладко засыпать. “Какой кайф! — подумал, погружаясь в сон. — И что ещё человеку надо!”

...Ванька ошибался, определив гостя на "Ниве" к Смирновым, как следователя. Следователь на полицейском "УАЗе" побывал у Виталика двумя часами ранее, а на "Ниве" пожаловал собственной персоной вездесущий Вадик Труханов. Вадику, принимавшему самое деятельное участие в оформлении фермерского хозяйства для какого-то "романовского мужика", из налоговой инспекции позвонили сразу же, как этот "мужик" припрыгал спозаранку в налоговую и стал требовать закрыть лицевой счёт и "всю эту историю с фермерством". Начальник налоговой тут же просигналил Вадику, понимая с расчётом на будущее, где у его самая сладкая косточка зарыта. Уже через час, получив жесточайшую выволочку от Булкина и "гениальное" указание, способное — к гадалке не ходи! — вернуть всё на круги своя, Вадик мчался, словно кучер на лахаче с занесённым кулаком сердитого седока над головой, на своей шустрой машинке в Романово.

Виталик не спал ночь, промаявшись в жёстком, пластмассовом кресле у дверей палаты, куда поместили переломанного, без сознания Андрея. Что в сына стреляли и что его "всего в крови увезла" "скорая", забежала сообщить напрямую с вечернего автобуса "вся в шок" Надька Карасёва. Виталик сразу же рванул на машине в районную больницу. Утром, услышав от злого, прокуренного, устало матерящегося доктора, что опасность миновала и у пострадавшего "жизненно важные функции не нарушены", Виталик, сунув врачу в кармашек халата пятитысячную, не раздумывая направился в налоговую, чтобы раз и навсегда закрыть эту невезучую историю с фермерством.

Вернувшись домой, как мог, успокоил Томку и прилёг отдохнуть. Но скоро пожаловал следователь, а за ним через какие-то полчаса — только стал задрёмывать — и "Вадим Аркадьевич этот", чёрт его дер! Если со следователем Виталик ещё старался держаться уравновешенно и терпимо, то Вадика встретил в сильнейшем раздражении, можно даже сказать, враждебно. В это утро, надо заметить, он был полон какой-то, несвойственной ему, решительной злости. Никогда не "подмазывал" никому, а тут сунул врачу деньги, да таким уверенным, не терпящим возражений движением, что могло показаться — занимался этим всю жизнь... Приехал в налоговую и распорядительным тоном, нисколько не смущаясь и не робея, объяснил принявшей его толстой, стопудовой тётке, чего он хочет, и вполне внятным языком изложил заявление о закрытии лицевого счёта и крестьянского фермерского хозяйства на своё имя. Отказываясь от фермерства, надо заметить, испытал удивительное облегчение и почувствовал, как в глубине души что-то снова встало на своё привычное место, вернув ощущение общего равновесия и устойчивости. Вот и теперь поглядывал на Вадика с усталой раскованностью, смело, давая понять, что игры закончились и он для себя всё решил — окончательно и бесповоротно. Но не так считали Вадик и его грозный властелин.

— По дороге к вам, Виталий Александрович, по поручению Булкина Владимира Савельича я связался с главврачом, — как можно проще и деловитее сказал Вадик, усаживаясь за круглым столом, застеленным белой льняной скатертью со стрелками от утюга, в недавно отремонтированной, обставленной довольно приличной мягкой мебелью, большой комнате смирновской квартиры. — Он сказал, ваш сын пришёл в сознание, ему сделали УЗИ жизненно важных органов, всё в порядке, опасность миновала... Сейчас накладывают гипс на позвоночник и грудную клетку. — В спальне приглушённо зарыдала Томка. Вадик покосился в её сторону и чуть возвысил голос. — Районная администрация отслеживает этот вопрос, из области едет лучший травматолог!

— Спасибо, — буркнул в стол Виталик, разглаживая ладонью стрелки на скатерти.

— Попутно я созвонился со следователем, — продолжал мягко Вадик, бросая быстрые взгляды на недружелюбно-отстранённого Виталика. — На месте преступления обнаружены неоспоримые улики... Преступник, житель вашего села Орешников, ранее судимый, уже арестован. — Томка в спальне оборвала скулёж и, похоже, вся обратилась в слух.

— Быстро! — усмехнулся Виталик.

— А вы как думали... Владимир Савельич взял дело под личный контроль... — аккуратно пробросил Вадик.

Виталик промолчал. Слышно было, как зашевелилась на кровати Томка, видимо, усаживаясь поудобнее и поправляя волосы.

— Я понимаю, Виталий Александрович, — слегка заторопился Вадик, заминая неожиданную паузу, — этот звонок с целью запугать вас... Мне следователь рассказал... Потом покушение на сына. Тяжело это, очень... Но сейчас-то всё вроде рассасывается... При особом внимании главы района. Может быть, не стоит вот так, сплеча рубить... Сколько труда, усилий уже вложено!

— Нет, Вадим Аркадьич! — зашуршал ладонью по скатерти Виталик. — Дело тут не в том, арестовали этого Орешникова или нет. Дело тут в другом...

— Здравьете! — появилась в дверях спальни с опухшим, разбехавшимся лицом Томка. — Извините, что не сразу вышла, сердце прихватило.

— Ну, и лежали бы! Здравьете! — отзывчиво поздоровался Вадик, вежливо привстав на стуле. — Мы вот с вашим мужем толкуем, что, может, не надо обрубать всё разом... Я про фермерство...

— Да я слышала, — скорбно сказала Томка. — Может, чаю поставить?

— Поставь! — рассердился неожиданно Виталик. Действительно, сегодня он был не похож на себя обычного.

— Так в чём же дело? — вернулся к главному Вадик.

— Всё дело в том, — наморщил лоб Виталик, сбитый с волны, — всё дело в том, что это не моё дело... Тут нужен шустрый, хитрый какой-то, а я так не могу...

— Ну, Господь с вами! — с ласковым расположением, перегнувшись через стол, потрепал Виталика по плечу Вадик. — Фермерство — не ваше дело? Да кому, как не вам! Технику знаете, с землёй, с животными умеете работать... А главное, хотите работать! Ну, а то что шустрый-нешустрый, так это дело наживное... Поможем, подскажем. Владимир Савельич, первый человек в районе, всегда рядом. Кто вас тронет! — почему-то сорвалось у него.

— Да я не об этом, — начал путаться Виталик, — хотя тут дело такое... пусть одного и арестовали, а их ещё вон сколько разгуливает на свободе... полгорода поди... Сегодня они в сына стреляют, — голос его дрогнул, — а завтра до дочери доберутся... Этот, кто звонил, так и сказал... И что, мол, серьёзные за ним люди... — Виталик насупилась и стал ковырять подсыхающую мозоль на руке.

— Не делайте из мухи слона, — ободряюще улыбнулся Вадик. — Вы преувеличиваете их возможности! Вот сейчас закатают этого вашего снайпера годков этак на пятнадцать, и все эти “серьёзные люди” быстро хвост подожмут. Что они против власти? Плонуть и растереть! — с видом ответственного и бывалого человека добавил он.

— Не знаю, что и сказать... Только раздумал я! — посмотрел в глаза Вадиду Виталик. — Не моё это дело! — снова повторил он.

— Опять двадцать пять! — начал раздражаться Вадик. — В чём “не моё”-то?

— Ну, как тут сказать? — шаркнул рукой ещё раз по скатерти Виталик и замком сцепил ладони. — Ещё по делу-то и не начал ничего, а уже по полной огрѐб... как предупреждение... А что дальше будет, когда строить что-то начну, техника появится? Да они меня тут зарызут, спалят... Голодные, злые все вокруг... Нет, не надо... не хочу! — заволновался он.

— Виталий, ну, что вы, как ребёнок, ей-Богу! — развёл руками Вадик. — Я же вам сказал, власть на вашей стороне! Власть! Вы что, не понимаете? Мы этих “голодных и злых” так пуганём! За сто верст обходить будут!

— Власть-то она власть, — вздохнул Виталик, — а жизнь сама по себе... А главное... Начнутся финансы эти, кредиты там, счета, отчёты, разные бумажки... Я в этом ни бум-бум... Нет, не моё это! Не моё! И не уговаривайте! — заладил скороговоркой он.

— Да у вас жена по образованию бухгалтер... справитесь! — сказал Вадик, изучающе посмотрев на входившую в комнату Томку с чашками

и большим, как круглолицый ребёнок в пелёнке, пузатым, укутанным полотенцем чайником на руках.

— Когда это было, я уже всё забыла, — проворковала Томка, обретая привычное, приветливое выражение лица, — да и по-другому всё сегодня... — она начала расставлять чашки на столе. — Раньше бухгалтер всё обнаруживал, а сейчас всё прячет...

“А она неглупая тётка, — подумал Вадик, — с ней можно дела делать”. И решил, что пришло время пустить в ход главный козырь...

— Остроумно, — улыбнулся Вадик, принимая чашку с чаем, — чувствую, у вас всё получится. На новом месте... — многозначительно сказал он, обводя глазами комнату — ...с новыми надеждами.

Виталик и Томка настороженно переглянулись.

— Перед поездкой к вам меня вызывал к себе Булкин... — медленно помешивая ложечкой в чашке, загадочно произнёс Вадик. Выждав паузу, сказал торжественно: — Владимир Савельич предлагает занять вам Макаровский хутор.

— Как это занять? — опешил Виталик.

— Да очень просто, — сделал глоток чая Вадик и спрятал глаза в чашке. — Сейчас дом и всё хуторское хозяйство принадлежат одному серьёзному банку. Администрация района через свои аффилированные структуры выкупит всё у этого банка, а затем продаст по остаточной стоимости, буквально за полцены вам. По нашим прикидкам, миллиона за полтора... С учётом реальной цены — это смешные деньги. До конца года мы пробиваем вам как начинающим фермерам льготный кредит, миллионов в десять. И вы легко расплачиваетесь. Въезжайте, прекрасный каменный дом, владейте, хозяйствуйте! Как вам? Я считаю, Владимир Савельич гениальный человек! — Вадик оторвал глаза от чашки и победительно-хитро посмотрел сначала на Томку, потом на Виталика.

— Не знаю, — сказал Виталик, почувствовав, что он поплыл... Каменный дом! Мечта жизни! Вот она, рядом — бери её! Скажи только “да”. Одно только слово! Но какое тяжёлое... Виталик в растерянности посмотрел на жену. Томка, подчиняясь первому, какому-то самому верному чувству, еле заметно отрицательно покачала головой. Виталик, вбирая её чувства, не понимая, как он это делает, с облегчением считал её мысли...

— Нам чужого не надо! — выдохнул он.

— Чужого?! — с неподдельным изумлением воскликнул Вадик и расхохотался: — Вам предлагают купить собственность, купить! А не украсть... Есть разница!

— У Бяки, ну, то есть, у Мишки Макарова, осталась дочь, — тихо сказал Виталик, — хутор её.

— Хутор со всем движимым и недвижимым имуществом давно уже за банком! — нахмурился Вадик. — Дочери покойного Макарова там ничего не принадлежит... Как вы не поймёте! Это будет честная сделка. Глава района вам туфту подсовывать не будет!

— Нет, — повторил Виталик, — на бумаге, по закону, это, может, будет всё и правильно, только по-человечески... нехорошо.

— Правильно, отец! — встряла вдруг Томка, заметно волнуясь. — Человек наживал-наживал, надорвался, умер, а мы подлезем при живой его дочери владеть всем... как награбленным. Нет, нам чужого не надо! — подержала горячо она мужа.

— Удивительный вы народ! — грустно покачал головой Вадик, понимая, что разговор исчерпан. — К ним удача, выгода, деньги, в конце концов, в руки плывут, а они отказываются... Но самое обидное, что кончится это тем, что хутор отойдёт какому-нибудь московскому барыге и будет тот барином жить-поживать и добра наживать. А кто-то достойный в совхозной клетушке доживать и копейки считать... Понимаю, понимаю! — вдруг заородствовал он. — Это ваш нравственный выбор! На чём и стоим! Тысячу лет на этом стоим и будем стоять, пока окончательно в болото не провалимся. Добрые, честные... вечно бедные и... вчерашние! Так и не понявшие, в какую эпоху их исторический ветер замёл! — Вадик встал, попрощался за руку с Виталиком и Томкой. Те сокрушенно и виновато молчали.

“Хорошие, правильные люди, — с сочувствием думал о них Вадик по дороге в город, — но капитализм с такими не построишь. И получается, лишние они на этом празднике жизни! И что с ними делать? Куда их? Распустить вольно по лесам и равнинам, жить дарами природы? Хотя они уже одной ногой в такой жизни...” — выхватывал он взглядом, проезжая деревни, завалившиеся башни зерносушилок, остатки разграбленной техники, уходящие в землю заброшенные фермы, рухнувшие крыши складов и сараев. Впрочем, не это было главным предметом его забот и печалей. Его тяготила другая, более насущная проблема, что возвращается он ни с чем, что деньги для начальника всё равно искать где-то надо, иначе самого разденут и в чём мать родила выкинут на мороз, и что впереди, что-то подсказывало ему, ждут его тяжёлые времена.

...Где-то через месяц, в начале декабря, Витька Орешникова судили. Главного пострадавшего, а по материалам следствия, и свидетеля — Андриюхи Смирнова — на суде не было. После Иванградской больницы он проходил курс реабилитации в одном из ведомственных медицинских центров. Можно сказать, учился заново ходить. В Иванград была отправлена справка о невозможности его присутствия на суде по состоянию здоровья. Чем в судебных инстанциях однозначно удовлетворились. Не поехал на суд и Виталик, томимый и без того тяжёлыми мыслями и настроениями о положении сына. “Слушать, как будут ковыряться... тут и Андрей... нет, не надо!” Томка поддакнула, что тоже не выдержит “всех этих разбирательств”. Отправилась в город на автобусе только немногочисленная родня Витька — его одряхлевшая, тяжёлая, с трудом ходившая мать (и куда пропала ловкая, бедовая, налитая здоровьем, ворочающая пудовыми флягами с молоком доярка Файка!), тётка Витька Шура, тоже изрядная развалина,диноутробный брат Славик, изношенный на тяжёлой физической работе, испитой, юркий ханурик... Подсели к ним в автобус несколько бойких и любознательных романовок во главе с Надькой Карасёвой, не пропускавших, как водится, ни одного заметного события в деревне. Они-то и поведали потом в деталях, как “засудили” Витьку Орешникова.

С их слов романовцы узнали, что “впаяли” Витьку семнадцать лет “строгача”. Пятнадцать за “вооружённое посягательство на жизнь милиционера” и ещё два по “совместительству” за неуплату налогов в баре, опасное для здоровья потребителю “разбодяживание пива и вина” и незаконную продажу алкоголя несовершеннолетним. Вторую часть обвинения Витёк признал, первую же категорически отрицал. Так и сказал, что, мол, стрелять в “мента” с его непогашенной первой судимостью всё равно, что стрелять в себя, а он не сумасшедший. На вопрос об уликах, в частности, именной зажигалке с “отпечатками”, оброненной на месте преступления, отвечал, что её подбросил тот, кто и “совершил в натуре преступление”. Когда огласили приговор, “заметался зверем по клетке” и заплакал, “как ребёнок”, что “закрывают его по подялке” и что тот, кто это сделал, придёт время, своё получит сполна. Все поняли, что он что-то “точно знал”, но доказать, видимо, ничего не смог — “так уж его приговорили”. Отмечали, что он “очень тяжело было смотреть, как убивался”, и потому решили, что посадили “на столько” Витька незаслуженно. И долго ещё потом гадали в Романове, кто “эту всю затею мог устроить?”

...В расстроенных чувствах, растерянным и подавленным заканчивал год Виталик Смирнов. Беда с сыном, крест на фермерстве, череда досадных, больно бьющих по карману неприятностей в хозяйстве — две коровы оказались яловыми, сгорел моторчик у станка по дереву, пропало (полностью заплесневело) сено в стогу (тот самым, что сложили с Томкой летом), лопнула в морозы водопроводная труба с улицы, уложенная ещё при совхозе, — всё это наводило его на грустные размышления, что всё, пора завязывать с этой “деревенской каторгой”, бросить всё к черту и по примеру других мужиков устроиться куда-нибудь в охрану поближе к Москве. Хоть и небогатый, но верный заработок. В деревне, всё чаще думал он, каши не сварить.

Так невесело подытоживал год Виталик, растрачивая последние крохи из заглашника, что остались после покупки сыну машины (она, кстати, после аварии не подлежала восстановлению) — на новый моторчик, сено, экскаватор из города для замены трубы... И вообще приходил он к неутешительным выводам, что деревня доживала свои последние времена. “Дёргается в судорогах...” — говорил он себе. Ещё работала школа, но он знал (новости приносила Томка из администрации), что на следующий год не будет уже ни одного первоклассника, и школу закроют; ещё ходила по улицам почтальонка, но ему было известно, что принято решение почту упразднить; ещё делали уколы и выписывали таблетки романовцам в ФАБе, но уже объявили, что в новом году ФАБ прикроют, как прикрыли недавно библиотеку... Действовал какой-то неумолимый, свирепый механизм по закрытию, ликвидации, сокращению всего необходимого и полезного. А самое главное, ощущал Виталик, что, живя на земле, человек вдруг утратил возможность жить и взращиваться за счёт земли. На ней стало невыгодно работать. Тысячу лет было выгодно, а в последние двадцать пять лет почему-то невыгодно! “С какой стати? Кто так устроил? Зачем? Ведь ерунда какая-то получалась!” — крутилось в голове у Виталика. Земля оставалась прежней, по-прежнему готова была поить-кормить, держать человека. Но что-то однажды так хитро повернули, что вышло, что и неспособна она больше ни на что. Вышло, что сколько на ней ни вкальвай, труд оставался безрезультатным. Впустую труд... отдачи никакой. “Это же как нужно было всё так устроить, — по несколько раз возвращался к одной и той же мысли Виталик, — что сколько ни работай тут, а приварок с гулькин нос! Без новых всходов! Кто так замутил?” А в результате обрыв какой-то произошёл, пытался обобщать он. Деревенские перестали быть в деревне деревенскими. Землю не обрабатывают, скотину не держат, дошло до того, что перестали сажать картошку для себя — дешевле купить... Вот куда всё завернулось! В деревне не остаётся тех, кто умеет пахать, сеять, жать. Виталик перебирал в уме знакомых, кто ещё что-то мог. Насчитал десятка полтора мужиков. Все они были в основном его ровесники, уже предпенсионного возраста. А за ними — пустота, ни одного парня, кто смог бы наладить плуг на нужную глубину. Да и его ровесники — умеют всё, знают, но работать с землёй тоже не хотят. “В деревне не осталось крестьян! — родилось как-то у Виталика. — Это же дурость полная! И это повернулось буквально на глазах. Жили люди, обжидали тут всё, сколько трудов положили... Поколения ушли! И вот всё! Край!” А дальше что? Думал Виталик и об этом. Представить, что жизнь, полнокровная, производящая, когда люди работают, чего-то добиваются, рожают и ставят детей на ноги, строятся, ширятся, крепнут, снова вернёшься в деревню, он не мог. Какие силы и средства нужно вложить, чтобы очнулось и снова задышало тут всё! Тут миллиарды и миллиарды нужны, прикидывал Виталик. Кто их даст, если даже дорогу толком починить не могут! Тогда что? Так всё окончательно заглохнет и умрёт? Как умерли десятки деревень вокруг? Но что-то подсказывало Виталику, что с Романовым случай особый, потому что после Романова с человеком на земле умирать было уже нечему. После него оставалась только брошенная, безлюдная равнина. С одиноками райцентрами в диком поле. А если потом и до них дело дойдёт, фантазировал Виталик, то тогда уже всю Россию поглотит неумолимо расплазающаяся лесная пустыня. Он представлял вконец одичавшие огромные пространства без единой деревеньки и клочка вспаханной земли. И это не казалось ему чем-то противоестественным и невозможным. Что-то похожее уже зародилось, ширилось и разрасталось вокруг. Но странно: никто, нигде и никогда (тут он вспоминал о верхах) даже словом не обмолвился об этом. Почему? Чего ждут? Пока чужаки придут? Задавался никому не нужными вопросами Виталик и не находил на них ответа. И поговорить было не с кем. Каждый (всё чаще вспоминал он покойного Дьяконова) “всё глубже закапывался в навоз”... А если и случалось заговорить за бутылкой о “серьёзном”, скажем, с Лёхой Зайцевым, соседом, то в ответ слышалось: “Не заморачивайся, что будет, то и будет... Пусть думают те, кому за это деньги платят!”

Было где-то часа четыре пополудни морозного, ясного, затухающего декабрьского дня. Виталик только что натряс коровам и овцам сена в кормушки, надёргал на подстилку осоки из пересыпанной снегом, обледеневшей скирды на задворках, перекидал в огород накопившийся за день навоз, натаскал на вечер дров (морозы давили за двадцать, в ночь топили) и присел отдохнуть уже в сумерках, не зажигая света, на кухне. Сидел, прислонившись мокрой спиной к горячему боку русской печки, млея, пил чай из любимой прозрачной, толстого стекла, кружки и, как всегда, о чём-то своём «кумекал»... Тут и позвонил неожиданно-негаданно Юрка Дьяконов от матери. Приехал забирать старушку на зиму к себе в Москву, просил Виталика заглянуть, заменить подтекающий на кухне кран. Виталик, как никогда, обрадовался неожиданному звонку Юрки, хотя, здороваясь, и назвал того Юрием Сергеевичем. Но это, надо заметить, была чисто формальная дань уважения к положению и московскому статусу сына Дьяконова, ставшего, как понял Виталик после одной из последних встреч со старым директором, кем-то вроде генерала в исторической науке. Для старожилков в деревне сын Сергея Васильевича навсегда оставался деревенским парнемком Юркой... Виталик с каким-то суетливым воодушевлением проверил старый школьный портфельчик, приспособленный для хранения первейших инструментов — ключей, отверток, плоскогубцев... Положил туда новый, на шарнирах, кран (у него их в запасе хранилось всегда несколько; выбрал немецкий, понадежнее, китайский великодушно отложил в сторону), подумал и сунул в портфель, в отделение без железок, бутылку первача, настоянного на клюкве и приготовленного к Новому году... Уж очень он обрадовался этому звонку! Так хотелось поговорить по душам со знающим человеком!

Через десять минут Виталик бойко торил, пуская парок изо рта, в жарком полушубке и разношенных, мягких валенках в синей морозной тиши по накрахмаленно-скрипучему снегу в сторону дьяконовского дома.

...Заменить кран для Виталика — плёвое дело. Всего-то и проблем — перекрыть воду, отвинтить старый, привинтить новый. На всё про всё — полчаса, не больше. Юрка, поглаживая бороду пухлой, белой, как у отца, ладонью, топтался рядом, пытался помогать — подавал ключи, прокладки... «И капает-то, как из пипетки... Но оставишь на ночь — ведро под раковиной через край...» — говорил он. «Это точно», — хмыкал Виталик, склоняясь над работой, оценивая оглядывая Юрку из-под руки. «Вроде не стареет, только вот пузо полезало, борода посивела и на башке поредело...».

— Юр, а тебе сколько? — спросил, скаля вставные железные зубы, с усилием закручивая покрепче контрольную гайку.

— На следующий год полтинник... А тебе?

— Юбилей, значит... Ну, а мне пятьдесят шесть стукнет.

— Я почему-то думал, меньше. Дело к пенсии идёт... Дедом ещё не стал?

— Да какое там... Не до внуков нам... Тут, брат, такие дела завернулись, — сказал, покряхтывая, Виталик, заканчивая с гайкой и пуская несколько контрольных струй из крана. Вода глухо ударила в дно пластмассового ведра под раковиной. — Вот и вся недолга, теперь лет на десять хватит... — закрыл кран Виталик.

— Слышал я про ваши дела... Мать рассказала, — сочувственно посмотрел на Виталика Юрка. — Такого раньше в деревне не было...

— Одно котёе кругом! Бандит на бандите везде! — чутко откликнулась из кресла в передней мать Юрки, восьмидесятилетняя, очень живая, можно сказать, бойкая, опрятная старушка Анна Кузьминична. — Колония, а не деревня стала!

— Вот видишь... — ответил матери, улыбаясь глазами, Юрка, — а в Москву ехать не хочешь!.. Уперлась... и ни в какую, — шёпотом, наклонившись к Виталику, заговорил Юрка, — «не поеду» — и всё тут! Не знаю, как ещё уговаривать!

— А тюремного этого, Орешникова, я слышала, судили? Много, говорят, дали... — демонстративно пропустила мимо ушей замечание сына Анна Кузьминична.

— Судили, тетя Ань, судили, семнадцать дали, — скороговоркой ответил Виталик и начал укладывать инструменты в портфель. — Другое сейчас всё, действительно... Не пойми, что творится. — Достал, как бы спохватившись, из портфеля бутылку: — Может, грамм по сто за встречу? Ну, и что-бы кран...

— Завтра вообще-то в дорогу, я за рулём... — замылся Юрка, но, посмотрев внимательно на Виталика, уступил: — Ну, хорошо...

Виталик, заботливо заглядывая в сливное ведро в тумбочке под краном, вымыл под экономной струйкой ледяной воды руки с мылом и прошёл в большую комнату, к Анне Кузьминичне. Поставил на чисто выстиранную, но с какими-то древними, не выводимыми пятнами, старенькую льняную скатерть бутылку, присел на стул, огляделся. Давненько он не был у Дьяконовых. Ничего здесь не изменилось! Тот же полированный сервант у дальней стены с набором разнокалиберной посуды и тускло поблёскивающих, заплённых парадных хрустальных фужеров, диван-кровать с ободранными ножками и лохматыми боковыми спинками, стол с четвёркой неуклюжих, громоздких стульев по периметру, пара кресел у печки с вытертыми до белызы деревянными подлокотниками... Вот и всё, что нажил директор когда-то огромного и богатого совхоза Сергей Васильевич Дьяконов за тридцать лет своего безупречного, неусыпного директорства. Да, ещё шкаф и полки с книгами во всю стену... Скромно, даже бедно жил их директор, подумал Виталик и вспомнил, какую тут недавно лицезрел дачу главы района Булкина в посёлке, построенном специально для районной верхушки под Иванградом, куда случайно по незнанию заехал предложить населенникам "домашнего творожка и сметанки". Замок, а не дача! Трехэтажная, с тонированными стеклами, из светлого, сверхпрочного кирпича, обнесённая каменным забором, со сторожевыми башенками, как в древней крепости, по углам...

— Что смотришь, Виталья? Как директор жил? — словно читая его мысли, проследила за взглядом Виталика Анна Кузьминична. — Небогато, вижу, думаешь... Не воровал, для страны, для людей жил... — и вздохнула: — И брать нечего, а все равно душа не на месте, уедешь — разграбят всё.

— Ну, почему, тетя Ань, сразу и "разграбят"! — не в меру бодро откликнулся Виталик. — Присмотрим... Никто ничего не тронет!

— Да разве уследишь за всеми, — голос старушки задрожал. — Прошлой зимой сразу два дома в Сосновке обокрали, всё вытащили, до последнего одеяла и простынки... Слышала, всех высланных из Москвы и дальних краев гонят к нам в деревню, вот они и воруют!

— Да какие высланные сейчас, тетя Ань, это когда было... Тут теперь местные стали, как высланные неизвестно куда! — неожиданно вырвалось у Виталика. И он, осёкшись, вопросительно глянул в сторону кухни, где, ему показалось, Юрка на секунду перестал возиться у стола, замер, вслушиваясь.

— Да я бы никуда и не поехала! — заплакала Анна Кузьминична. — Но силёнок уж нет больше таскать дрова из сарая, печки эти ненасытные топить... Зима-то вон какая нынче забирает лютая... А в доме — топи, не топи — холодно, как в сарае, всё выдувает!

В комнату вошёл с тарелкой нарезанной колбасы, хлебом, банкой маринованных огурцов и вилками в руках Юрка.

— Ну, вот и переживёшь морозы в Москве, — начал он расставлять закуски на столе, — а как потеплеет, в апреле, сразу в деревню... — По дороге к серванту за рюмками приобнял мать, поцеловал в голову, в атласный, в синий горошек, платок. Анна Кузьминична от ласки как-то разом размякла, заблужила:

— Как так, бросить всё и уехать?! Наживали-наживали! Приедешь к разбитому корыту!.. Ничего вам не надо! — И легко, тонким, сухоньким коромыслом снявшись с кресла, поджав обиженно губки, укрывлась за дверью спальни.

— Вот так весь день, — покачал головой Юрка, нашаривая в серванте рюмки. Зажал пальцами пару небольших, с мутными бочками, посмотрел на просвет, дунул, выдувая пыль. Сходил на кухню, ополоснул под краном. — Понимаю мать, жалею... Старое нужно двигать очень осторожно...

На этих словах Виталик как-то очень внимательно посмотрел на Юрку.

— Правильно, а то рассыплется, не соберётся... Это как в деревне сейчас: старое развалили, а новое построить — умишка или чего там, не знаю, не хватает. — Виталик засмутился собственной смелости в речениях и, преодолевая волнение, решительно подвинул рюмку под горлышко бутылки.

Юрка, разливая по стопкам, удивлённо склонил голову набок:

— Однако, обобщения! — Выпил, захрустел огурчиком. — Первач, что ли? Давно не пил такого! Вот уж, действительно, огненная вода!

Виталик тоже опрокинул. Не морщась, зажевал колбаской.

— Перешли полностью на натуральное? — Юрка щёлкнул пальцем по бутылке.

— Давно уже, — скупно отозвался Виталик. — Водка в магазине у Надьки Карасёвой, — может, помнишь такую? — в основном палёная, да и дорогая, покупают в основном приезжие, дачники. Местные больше по самогону...

— И почём бутылка... самопляса? — спросил, улыбнувшись, Юрка, вспомнив забытое, весёлое словечко из советского прошлого — “самопляс”...

— Хороший, двойной перегонки, на зверобое, клюкве там... сто пятьдесят, — машинально закрутил пустой рюмкой на столе Виталик, — обыкновенный... сто.

— Хороший в три раза дешевле хорошей в магазине, а по вкусу немножко лучше, — подумав, обобщил Юрка, — есть смысл производить.

— Получается, единственно это — выгодно, — насутился Виталик, — всё остальное... себе в убыток. Никак не пойму — почему? — вскинулся плечами и ни с того ни с сего вдруг бухнул: — Нас подталкивают спиваться здесь... без денег, без работы!

Юрка разлил по второй. Некоторое время молчал, словно прикидывая что-то, вглядываясь в собеседника:

— На серьёзный разговор заходим. Накипело, значит?

— Да это я так... к слову, — замялся Виталик, механически выпивая вторую. Юрка тоже выпил. Взяли руками с тарелки по кружку колбасы, закусили.

— Кто бы мог подумать тридцать лет назад, что всё так обернётся, — шумно, полной грудью вздохнул Юрка.

— Батя твой всё в точности предсказывал, — многозначительно, с уважительными оттенками в голосе сказал Виталик.

— Отец умный был, всё понимал... — погрузился Юрка. — Вот трудов родителя, да и всех тут!.. — махнул он рукой. — Мне больше всего и жаль... тридцать лет — лучшие годы своей жизни! — в эти края вбухал. Строил, пахал-сеял, деревню окультуривал, поля расширял... Не спал, не ел, как следует, жил, сам видишь, как... И всё насмарку! С лица земли стёрта целая цивилизация! Колоссальный труд, можно сказать, колоссальных, уникальных людей!.. А взамен — ничего! “Новое построить”, как ты говоришь, “умишка не хватает”?

— Не знаю, чего, — повторил Виталик, — но чего-то там не хватает...

— Я тебе, прежде чем про “умишко” и “чего-то там не хватает”, одну историю расскажу, для наглядности, так сказать, — усмехнулся Юрка.

Виталик, словно чему-то обрадовавшись, забеспокоился, заёрзал на стуле, заинтересованно посмотрел Юрке в глаза.

— Совсем недавно, этой осенью, к нам в университет приезжал очень большой начальник, — заиграл серыми глазами Юрка, — очень большой начальник, приближённый, так сказать... Вначале, как обычно, встреча со студентами, речи о неразрывности российского исторического процесса, синтезе эпох, объективности исторического познания и всё такое прочее... — Юрка прервался и разлил по третьей. — Потом уединились у ректора... заведующие кафедрами, профессура... пригласили и меня. Пошли большому начальнику разные вопросы... Я задал свой... Спросил, что думает делать власть с центром страны, мол, останавливается сердце России... В качестве примера рассказал о нашем Романове, селе с пятисотлетней историей... вотчине первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Сказал, что мой отец был директором местного совхоза, привёл цифры, сколько земли

обрабатывали, сколько зерна собирали, молока надаивали, сколько чего было построено. “А сейчас, — говорю, — не пашется ни одного гектара, всё лесом заросло... Село на глазах умирает. И так по всей центральной России, откуда, собственно, и пошло государство Российское... Это к вопросу о неразрывности исторического процесса... Что делать будем?” И знаешь, что мне ответил очень большой начальник? — язвительно заулыбался Юрка. — Рассказываю — не верят!.. “Не стоит излишне драматизировать ситуацию, — сказал очень большой начальник, — ничего страшного, что лес на пашнях вырастет... Мебельных фабрик понастроим, будем современную мебель делать!” Каково сказано, а? Как завернул! В “граните отлил”! — выкрикнул Юрка. — Вот он, государственный уровень! Вот она, неординарность мышления! Гениальный полёт мысли!.. А ты — “умишка не хватает”! — Юрка раздражённо опрокинул третью рюмку.

Выпил и Виталик, помолчал неловко:

— Не все же такие... Есть и поумнее, наверно... Тоже что-то кумекают? — вопросительно глянул на Юрку. — Мы же здесь ничего не знаем...

— Есть и поумнее... — строго и с паузой сказал Юрка, как бы снова что-то своё сообщая, — есть! — повторил уже твёрдо, видимо, на что-то решившись. — Есть, Виталия, стратеги, так сказать, глобальные перекройщики судеб народов... Но они в тени, их не видно и не слышно. Они как бы катакомбные, спрятанные... Тихо роют своё... На поверхности появляются крайне редко, чтоб озвучить через своих проводников какой-то очень важный, “судьбоносный”, разработанный ими проект, а затем снова без лишнего шума погружаются в закрытый, особо охраняемый мир своих тайных лабораторий.

— Интересно, — неопределённо хмыкнул Виталик, — только непонятно... попроще бы! Я тут не догоняю...

— Можно и попроще... — охотно подхватил Юрка. — Есть серьёзные люди, которые себя не афишируют, но думают, основательно думают о судьбах тысяч “Романовых” и миллионах их обитателей, которые практически уже ничего не производят, но качают электроэнергию, требуют ремонта дорог, содержания школ и больниц, ежемесячных выплат пенсий... Можешь догадаться, о чём они думают? — вдруг резко спросил Юрка.

— Не знаю... — растерялся Виталик, — наверное, во что обходится всё это?

— Правильно! Они думают, а зачем все эти “Романовы”, пользы от которых, как от козла молока! Значит, что нужно сделать? Правильно! — не дожидаясь ответа, неожиданно азартно выкрикнул Юрка. — Закрыть все эти территории, чтобы есть не просили!

— Как это закрыть? Пол-России закрыть?! — завозился Виталик на стуле. — А потом — мы есть не просим, мы сами себя можем прокормить... Вон земли сколько пропадает, только помоги немного за неё снова взяться!

— Это тебе так кажется, а они уже давно подсчитали, что вы употребите больше, чем отдадите... Там, в их тайных лабораториях, мудрецы и звездочёты всё уже давно учли и оставили, как ты говоришь, вас здесь спиваться... Тратиться на вас никто больше не будет! Вы лишние рты, вы лишние люди! Увы!.. — развёл руками Юрка.

— Как это лишние? Кто сказал?! — искренне удивился Виталик. — В деревне, я читал, ещё двадцать пять процентов населения живёт!

— Сказали наконец-то, сказали... “Скрипят подземные рули”... — туманно пробормотал Юрка. — Тут недавно одна значительная, но пока ещё не первой величины персона, как и полагается, заявила, что в деревне живёт пятнадцать миллионов лишних людей. Без ложной скромности, как говорится, не таясь, было сказано, что эти пятнадцать миллионов, считай, все деревенские жители, с учётом новых технологий производства на селе не нужны.

— И куда нас, если мы лишние? — недоверчиво посмотрел Виталик.

— Вас предлагают собрать в городах-агломерациях... — усмехнулся Юрка, — поближе к границе — в интересах национальной безопасности, так сказать... Чтобы, как было сказано, “удержать территорию страны”. Чувешь, какая высокая миссия уготована остаткам русского крестьянства?!

— А что это такое, города эти?

— Агломерации... По-простому — это такие гигантские города с миллионами людей... муравейники... Токио в Японии, Нью-Йорк в Америке, наша Москва с пригородами...

— И нас что же, переселять туда будут? Или разом загребут в один совок и ссыпят в этот муравейник?

— А вот этого никто не знает, — сухо сказал Юрка, — стогнать ли или тихо выдавливать с насиженных мест — этого, за исключением верховных жрецов, никто пока не знает... Подождём, рано или поздно и это объявят... Но подготовка, по-моему, к окончательной зачистке русской деревни началась. И началась она, как водится у искушённых преобразователей, с изменения базовых представлений человека о месте, где он родился и живёт... Что, опять непонятно говорю? — недовольно покосился Юрка.

Виталик потупился.

— Хорошо, тогда просто наглядный пример! — нетерпеливо сказал Юрка. — Ты заметил, что со всех придорожных указателей исчезло обозначение статуса населённого пункта — деревня, село? Помнишь, раньше при въезде куда-нибудь писали, условно там — “с. Ивановское”, “д. Петровка” — сейчас все эти “с” и “д” исчезли... Что это означает? А означает это то, если вдуматься, что у сёл и деревень отобрали их родовую, историческую мету... как бы нечаянно подрубили корешок, ведущий куда-то туда, в глубины веков... Ведь статус населённого пункта может о многом рассказать... Скажем, он может поведать об условиях, в которых жили наши предки, потому что жизнь в маленькой деревеньке или в большом селе существенно различалась. Статус может раскрыть положение того или иного селения по отношению к соседним населённым пунктам, потому что даёт представление о его размерах, что, в свою очередь, ведёт уже к пониманию плотности населения, а дальше — к размеру землевладений и, как следствие, приходит более глубокое осознание производственно-хозяйственных отношений, социальных настроений в обществе... Всё это очень и очень серьёзно! Тут всё взаимосвязано! — воскликнул Юрка. — Кажется, смахнули с дорожного указателя всего лишь одну букву! Подумаешь, какая важность! А на самом деле перекрывается важнейший источник осмысления нашего с тобой прошлого! “Ты где живёшь? — начал вдруг импровизировать Юрка. — В Романове! — А это что? — Поселение...” — иронично протянул Юрка и машинально дёрнулся со стулом поближе к Виталику, как бы в желании быстрее и точнее передать свою главную мысль. — Вот и появился новый статус места, где живёт сейчас человек. Не деревня, не село, а ПОСЕЛЕНИЕ! — выделил голосом Юрка.

— Действительно! Буквы-то с указателей перед населёнными пунктами исчезли! — встрепнулся Виталик. — И говорим мы всё чаще, что живём не в селе Романово, а в Романовском поселении... Что есть — то есть! — И посмотрел на Юрку с восхищением.

— И слово-то какое нашарили — звучит, как приговор для русского человека, — ПОСЕЛЕНИЕ! — выкрикнул Юрка. — Те, кто принимал решение назвать так нижнюю единицу административно-территориального деления страны, не могли не понимать, как страшно это слово звучит для нашего уха... В этом слове кандалный звон... лагерный ужас! Они не могли этого не знать! — застучал ребром ладони по столу Юрка. — Иначе вернулись бы к “волости”! Волость... от древнерусского “володеть” — владеть, властвовать... правильное, точное слово! Но нет — внедрили океанное “ПОСЕЛЕНИЕ”!

Виталик внимательно наблюдал за неожиданно разошедшимся Юркой. Таким он его ещё не видел. “А он заводной!” — подумал Виталик и покашлял в кулак. Юрка расценил это по-своему:

— Понимаю... Сейчас расшифрую! — перевёл он дух. — Слово “поселение”, увы, закрепилось у нас с принудительным водворением на жительство в места, как говорят, не столь отдаленные... “Сослать в Сибирь на вечное поселение”. Так часто делали до революции. Наверное, слышал, читал где-нибудь?

— Про декабристов кино смотрел... там было про это.

— Вот-вот, хорошо, что вспомнил про декабристов! — уже спокойнее заговорил Юрка. — Во времена декабристов появились военные поселения! По имени их создателя — Аракчеевские поселения. Ими детей пугали сто лет — так издевались там над человеком! Поближе к нам... — сделал паузу Юрка, — были трудовые поселения, это уже ГУЛаговская система, куда сгоняли раскулаченных и прочих “контрреволюционный элемент”. Существовали поселения отсидевших в лагерях, кого не выпускали на “большую землю”... Ну, и до настоящих времён дошли колонии-поселения. Так что слово это для народа — ещё то! — опустил голову по-отцовски и характерно поскрёб пальцем лысеющий лоб Юрка. — Как говорится — не дай Бог! Ужасом веет от него... А мы им определили места проживания миллионов людей! Были крестьяне, жители сёл и деревень... Стали — ПОСЕЛЕНЦЫ! А там недалеко и до переселенцев... — проговорил невнятно. — Как ты думаешь — случайно? — вдруг, резко вскинув голову, остро и пристально посмотрел на Виталика.

Ответил ветер — внезапным порывом туго ударил в окна, тонко засветил в старых, щелястых рамах. От окна потянуло холодом. Виталик зябко повёл спиной:

— Рамы, вижу, совсем пропали... Потому и выдувает. Надо стеклопакеты ставить... Я у себя поставил, совсем другое дело.

Юрка промолчал. “А от ответа ушёл, хитрый... — Вспомнил классические размышления старых писателей о скрытности, осторожности русского мужика. — Народ не меняется... сколько его ни реформируй. Но всему есть предел...”

— Может, ещё по одной? — предложил Виталик. — И я пойду... Там-ка там одна со скотиной возится.

— Давай... как говорят, для сугрева... действительно выдувает! — налил ещё по рюмке Юрка. — Рамы, ты прав, надо менять!

Тихими, короткими шажками вынырнула из спальни Анна Кузьминична.

— Уходишь, Виталя? — Старушка, видимо, прислушивалась к разговору в большой комнате. — Управляться пора... На три коровы только пошла бадеек шесть надо вынести!

— Управимся, тетя Ань, не впервой... — Виталик каким-то особенно долгим касанием рюмки чокнулся с Юркой и неожиданно сказал: — Тебя бы на место отца, глядишь, и не развалились бы...

— Бесплезно... И тогда, и теперь! — затряс головой после стопки, скрывая чувства, польщённый Юрка.

— Поселение, конечно... Может, ты и прав... — на этот раз перекопился лицом от выпитого Виталик. Морщась, занюхал хлебом. — Столько земли пропадает...

“И снова увернулся... — отметил Юрка. — Может, просто ничего не понял?”

— Дорого это — стеклопакеты? — спросил машинально, чувствуя, что пора ставить точку в затянувшемся разговоре.

— Тысяч в тридцать обойдётся... — Виталик встал из-за стола, встряхнулся, прошёл на кухню, позвякал портфельчиком, огляделся, не забыл ли чего.

— Может, действительно, поставим весной? — спросил Юрка у матери.

— Решай сам... Мне бы живой вернуться! — лицо Анны Кузьминичны сделалось горестным. — Не хочется зимой умирать, в холодную землю ложиться...

— Обязательно вернёшься, тетя Ань! — Виталик натянул полушубок, подхватил портфельчик. — Было бы куда возвращаться... А то, не ровен час, погонят нас отсюда всех к чёртовой матери! — со значением пожал руку Юрке.

“Вот и ответ”... Юрка молча надел куртку, вышел с Виталиком на улицу — закрыть на ночь наружную калитку. В ярких столбах света из окон, в газовой, снежной пыли взъярившейся ведьмой плясала на острых гребнях сугробов вьюга. Распускала седыми, дымящимися струями космы по крыше,

билась в стены, рвала на фронтоне доски. Людей встретила обжигающей ледяной страстью и напором. Виталик, загородив лицо рукавицей, шагнул за воротца. Какое-то время Юрка пытался проследить за ним. Но где там... Стихия растворила Виталика в себе уже через несколько шагов. Ни звука, ни следа...

А по весне убили Генку Демьянова. Ножом, в сердце... Случилось это восьмого марта.

В обед Генка по случаю женского праздника чуть лишнего принял. Неожиданно затосковал, загорюнился как-то странно, размяк, пытался с несвойственной ему ласковостью поговорить с женой... Потом долго стоял задумчивый у окна и неожиданно принял решение навестить с последним автобусом Людку в городе. Надо проведать, сказал, словно очнувшись от какого-то морока, поздравить с праздником... “Одна она там, и на восьмом месяце уже...” Попросил Нинку собрать гостинчик и в восемь вечера, в ночь, отправился на автобусную остановку. Шёл липкий, тяжёлый снег. Туманилась первая оттепель. Нинка отговаривала — куда в такую непогодь! Но разве могла баба переубедить в чём-то Генку! Уехал, поменяв бельё, в черной выходной куртке, с объёмистым пакетом картошки и домашней, разделанной курицей в газете сверху. Нинка позвонила по мобильному телефону Людке, что едет отец, с ночёвкой. Людка предупредила хозяйку, занесла из сеней в дом раскладушку, начистила сварить картошки, села у телевизора ждать. Ходу на автобусе до монастыря при въезде в город, где была остановка, минут сорок-пятьдесят, дальше вниз к речке по Огородной улице, где Людка снимала в частном доме комнату, — ещё минут десять... Где-то к девяти Людка ждала отца. Началась программа “Время”, показали, как в Москве отметили женский день... Отца всё не было. Людка забеспокоилась, несколько раз выходила на крыльцо, вслушивалась в сырую, туманную ночь. С тихим шорохом падал на кусты вдоль забора мокрый снег. Тусклый свет энергосберегающей лампочки на столбе с трудом пробивался сквозь густую сетку метели. Прохожих — никого. В половине десятого Людка оделась и вышла на улицу. У соседнего дома на лавочке между двумя берёзами, привалившись к стволу одной из берёзок, неподвижно сидел человек в знакомой куртке с полиэтиленовым пакетом в руках. “Отец... один на лавочке, странно...” Подошла, потянула за мокрый рукав: “Ты чего здесь? Пошли в дом!” От прикосновения Генка мешком завалился набок. Из опрокинувшегося пакета на коленях покатились картошка, с глухим шлепком в снежную кашу под ногами упала курица...

Убийц не нашли. Следов или улик каких-то они на месте преступления не оставили. Да ещё эта погода... Никто из местных также ничего не видел и не слышал. В тот вечер все рано разбрелись по тёплым норам. Правда, потом нашлись люди, вспомнили, что видели вроде двух каких-то подозрительных типов. Слонялись где-то около девяти по улице, как будто кого-то ждали. Но валил такой снег, что разобрать что-то, а особенно лица, было совершенно невозможно. Запомнили только, что один был плотный, почти квадратный, “с руками длинными, как у гориллы”, а другой, наоборот, “фитиль и кашлял непрерывно”. Но мало ли кто шляется вечерами по улицам тихого провинциального городка, и к делу это не пришьётся...

Хотя была одна, точнее, могла быть одна серьёзная зацепка для следствия, но она по вполне понятным, “чисто человеческим” причинам не стала достоянием следственных органов. Всё дело в том, что в тот злополучный вечер ехала в автобусе вместе с Генкой Демьяновым одна зоркая и острослушная особа, навещавшая в Романове на женский праздник свою одинокую, из старых дев, сестру. Эта особа, ничем не примечательная с виду дама средних лет, отличалась чрезвычайной любознательностью и пытливостью. Наверное, не было в природе объекта, мимо которого она могла бы пройти равнодушно. Ко всему, что встречалось у неё на пути, она приглядывалась или прислушивалась. Вот и в тот вечер, опытно заняв в полупустом и холодном автобусе местечко поближе к передку, к шофёру, где у двигателя теплее, сразу же заметила, как ветрепенулся и приглядчиво завертел головой водитель,

“весенним скворцом на ветке”, когда в “пазик” заскочил почти на ходу, последним Генка Демьянов. Обладавшая особо тонким слухом наша дама явно услышала, когда отъехали, как “шоферюга” сказал кому-то по мобильнику, “еле слышным шепотком”, что “мужик в салоне”. А когда Генка сошёл у монастыря, снова кому-то набрал, что, мол, “встречайте гостя”. Обо всём этом, когда Генку зарезали, наблюдательная особа рассказала мужу, в прошлом работнику ВОХРы на железной дороге, человеку бдительному и осторожному, высказав, может быть, весьма верное предположение, что за Генкой этот “водила” по заданию бандитов “давно приглядывал” и “просигналил” им в подходящий момент, “что тот едет”. Услышав такое, опытный вохровец строго-настрого приказал жене держать язык за зубами. Что наша дама, смыслёная от природы, постаралась в точности и исполнить. Генку Демьянова уже не воскресить. А доказать что-то потом — всё равно ничего не докажешь. Только проблем “огребёшь”, прав тут муж, “вагон и маленькую платформу”. Если, конечно, живой останешься...

А ещё через месяц с небольшим, в апреле Людка Демьянова родила беспокойного, часто беспричинно плачущего мальчика.

...В середине июля, где-то сразу после Петрова дня, Андрюха Смирнов ехал в деревню — помочь отцу с сенокосом. Ехал без особого желания. Не радовали его, как год назад, ни стремительная приёмистость новой машины, купленной в кредит, ни солнечный блеск июльского дня, ни фиолетовые разливы люпина вдоль шоссе... Что-то тоскливое и болезненное заползало обычно в душу, когда приходило время отправляться в Романово. Тогда накатывала на него горькая муть воспоминаний обо всей этой неприятной, пакостной истории с Витьком Орешниковым, стрельбе на дороге, о Людке, её отце, убитом как-то странно, глухо и темно... Особенно о Людке... Он знал, что она родила, говорили, парня... Толкался где-то в сознании, как ни глушил он в себе этот вопрос, а не его ли, действительно, этот ребёнок? И сразу вспоминался неожиданный визит на Покров покойного Генки Демьянова, его полные пугающего, глубинного мрака слова-предостережения, как могут издеваться над незащитным ребёнком чужие люди, и не вырастет ли он без отца каким-нибудь негодяем и вором?! Виделись быстрые взгляды матери, её долгие, глубокие вздохи, раздражающее почему-то, неприкрытое сострадание... Всё там, в деревне, будоражило, бередило душу, потому и не тянуло туда, как прежде... И вообще, после всей этой истории с Людкой, Витьком, покушением, следствием, госпиталями Андрюха сильно изменился. И хотя он выправился, на здоровье не жаловался, вернулся на работу, но что-то в нём раз и навсегда перекошилось, струнулось не туда, стало мешать жить с прежней безоглядной лёгкостью. Словно вонзилось что-то в сердце и не давало полной грудью вздохнуть... Стал Андрюха быковат, осторожен, немногословен. Улыбка ушла с лица, оставила место угрюмоватой усмешливости. Долгое лежание в госпиталях, усиленное питание изменили его и внешне. Он заметно раздался, потяжелел, округлилось и набрякло излишней сытостью лицо. Без формы стал похож на раскаченного братка. В форме представлял “настоящим ментом”, как заметил однажды, взглядевшись в него на разводе, начальник отделения. “Заматерел неузнаваемо” — можно было сказать при встрече с ним.

В дороге не раз появлялось желание послать всё к чёрту, развернуться. Отбрехаться потом срочным дежурством, усталостью, недомоганием... Но что-то упорно гнало Андрюху в Романово. В Иванграде встретила пышная и богатая свадьба. С полсотни дорогих машин, намертво закупорив улицу, бестолково отъезжали от церкви после венчания жениха и невесты, выстраивались, одурело сигнала, в пышную кавалькаду из живых цветов, воздушных шариков, блеска стекол и лака. Впереди, в пижонистом кабриолете, на жёлтых кожаных сидениях широко и солидно восседал в белом костюме здоровенный, похожий на циркового силача с афиш прошлого века, бульдожистый, с энергичным подбородком, в толстых, смоляных усах кинжалами жених. Рядом, тоже вся в белом, с ярким лихорадочным румянцем

на щеках, худая и длинноносая, как крошка Цахес, сидела невеста. В душном безветрии, под июльским солнцем, она работала, как заведённая, веером и нервным кусала губы. “Истеричка, сразу видно! — с какой-то неожиданной злобой и удовольствием отметил Андрюха, поравнявшись в пробке с машиной молодожёнов. — Тоже мне — нашёл красавицу, мордovorot! — Вспомнил почему-то Людку. — А она была бы поинтересней в фате... этой психованной чучундры!” — подумал раздражённо, чувствуя, как что-то больно задела в нём чужая свадьба...

Остаток пути до Романова гнал машину с остервенением, нёсся, как камикадзе в торпеде, не щадя подвесок, по раздолбанному, с редкими островками асфальта шоссе. Что заставило его тормознуть на всём ходу, в пыль растирая асфальтовую крошку под колесами, когда при въезде в деревню он боковым зрением, мельком, выхватил у автобусной остановки знакомую женскую фигуру с детской коляской, объяснить себе он не мог. Ни тогда, ни потом. Только он почему-то дал по тормозам, отрулил назад... Подошёл, не понимая, для чего и что сказать. Людка выглядела плохо — похудевшая, маленькая без каблучков, вся какая-то жалкая, зашуганная овца. Встретила его молча, впиалась беспокойным взглядом.

— Что смотришь? — грубо, не поздоровавшись, спросил Андрюха. — Не узнаёшь?

— Узнаю... — опустила глаза Людка. — Ты очень изменился...

— Ты тоже... — хмуро окинул её взглядом Андрюха. И растёр что-то невидимое на земле ботинком. — Вот ехал, решил тормознуть...

— Спасибо, — прошептала Людка и взялась суетливо прикачивать вдруг надсадно заголосившего в коляске ребёнка.

— Крикливый? — кивнул в его сторону Андрюха.

— Беспокойный... — сунулась в коляску с пустышкой Людка.

— Понятно... — не нашёлся, что сказать, Андрюха. — Как назвали?

— Андреем...

— А отчество?

— Андреевич...

Андрюха неопределённо повёл головой.

Ребёнок зашёлся, хватая болезненным, нервным криком за сердце. Людка достала его из коляски, затанцевала на месте, баюкая. Ребёнок не унимался.

— Дай, подержу! — неожиданно предложил Андрюха и как-то ловко и правильно перенял живой свёрток из рук Людки. Цепко и пристально посмотрев на ребёнка, он, словно принохиваясь, поднёс его близко к лицу, вбирая каким-то звериным чутьём его сущность... Ребёнок внезапно перестал плакать, разлепил знакомые васильковые глаза... Андрюха, не осознавая, что он делает, вдруг нежно и с неизъяснимым восторгом прижал его к сердцу.